

В Златокипящую МАНГАЗЕЮ

Юрий БЛИНОВ

г. Москва

р о м а н

Часть первая.
МОСКОВИЯ

Год 7122 — начало исчисления
от сотворения мира

1. Мать-царица Марфа

Михаил Романов, со слов хорошо знающих его людей, слыл человеком мягким и, по сравнению с Рюриковичами, что царствовали на Руси до Фёдора Иоанновича, довольно безобидным правителем. Однако, как и все Романовы, противоречив и, взойдя на престол, он принялся прежде всего убирать со своего пути претендентов на царский трон. Добился того, чтобы поля-

ки, на тот момент временно замирившиеся с Россией, выдали Варёнка, маленького пацанчика, дитя совсем ещё, сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II, и повесил принародно его на Красной площади. Тот долго болтался в петле живой, поскольку толстая верёвка не затягивалась на щедедушном теле мальчика. Второго претендента на царский стол из рода великих князей Шуйских тоже на площади, тоже, так сказать, для общего обозрения посадил на кол. Этот, наоборот, тяжёл оказался, кол, пройдя пищевод и не повредив его, вышел со спины. Князь сутки оставался жив, вращал осатанело больными глазами, моля о пощаде, на потеху шатающемуся праздну народу, хихикающему и тыкающему в него пальцем. Ничего не скажешь, безобидный, мягкий правитель.

Неизвестно, что стало бы с ним, а вместе и с Государством Российским, не будь рядом его матери Марфы — инокини, суровой и жёсткой правительницы. Родственники с её стороны (Салтыковы) постарались окружить молодого царя такой «заботой», от которой надо было бежать и бежать куда подале и как можно расторопнее. Алчность, развращённость могущественного клана Салтыковых, ставших волею судьбы у руля власти, не знали границ, но Марфа сумела уберечь сына от дурного влияния родни. Она старалась не допускать их к важнейшим державным делам, особенно к решению торговых и военных вопросов. Это означало, что государственная, пускай вначале и скудная, казна была для Салтыковых наглухо закрыта. Марфа, женщина сильной воли, требовала неукоснительного исполнения наказов, повелений своими подданными.

С внутренней дрожью и волнением в зиму 1624 года шагал к ней воевода архангельский по коридорам дворца, слабоосвещённым редкими свечами. Шёл мимо караульных стрельцов, застывших наизготовку в переходах, которые, казалось, не обращали на воеводу и сопровождающих его лиц никакого внимания, на самом деле охрана пребывала в чутком стороже и готова в любую минуту применить самые жёсткие меры воздействия к ним. Впереди воеводы шёл вооружённый саблей и кинжалом жилец, позади — пятидесятник стрелецкого полка, возглавлявший охрану кремля, Василий Кузьмин. Шли молча, сосредоточенно. Тучков не знал, только догадывался,

куда ведут, но ничего не спрашивал, считал, что бесполезно, пятидесятник был наделён властью, привык впустую, особенно с доставленными по приказу, слов не тратить. Перед закрытой дверью в палаты Марфы жилец остановился, встали и его спутники.

— Ты пока подожди здесь, господин воевода, — тихо и не оборачиваясь сказал жилец и скрылся за бесшумно открывшейся дверью.

Афанасий огляделся — коридор был пуст, мрачен, скамеек, табуретов для посетителей не предусмотрено, у стен, около палаты монахини, прямо у входа стояли с отрешёнными лицами, как истуканы, два стражника. Ждать пришлось недолго, из дверей выглянул жилец и пригласил обоих — и Афанасия, и Василия зайти. Однако в огромном зале Марфы не оказалось, здесь на длинных скамейках перед длинными же столами сидели монахини, склонившись над рукодельем. Ни одна из них (а было их около десятка) не оставила работу, даже ради любопытства не подняла голову. Пожилая монахиня, вероятно, старшая из всех, открыв невысокую дверь, прячущуюся за шёлковыми розовыми занавесями, молча, одним жестом пригласила Афанасия пройти внутрь. Жилцу и Кузьмину тоже жестом указала остаться на месте.

Афанасий шагнул внутрь и сразу же оказался перед правительницей, величественно стоявшей в чёрном строгом одеянии посередь палаты, поднял глаза и в первую очередь увидел не царицу-монахиню, а женщину, женщину-повелительницу. Её суровые глаза из-под густых бровей требовательно и властно смотрели на Афанасия. Однако при пристальном внимании в них, кроме суровости, просматривались забота и участие. Дородный, хищный нос и сжатые тонкие, сухие губы не портили лица, а говорили о сильном и властолюбивом характере. Афанасий склонился в глубоком поклоне, она же только чуть кивнула в ответ и непринуждённо, на удивление по-девичьи легко отошла к распахнутому окну, из которого тянуло крепким морозцем, закрыла заскрипевшие от налипшего льда створки, повернулась к застывшему Афанасию и, чуть приоткрыв свои в ниточку губы, сказала:

— Ну, начнём. Ты теперь кто будешь, кем состоишь? Давай докладывай, слушаю! — И присела в глубокое простецкое кресло, поправив пе-

ред этим обшитую зелёным бархатом подушечку, лежащую на сиденье.

— Тучкова Тихона сын, — оторопел от вопроса Афанасий, доложили же, да и знала она, кто он таков, но ответил, не выказав недовольства и как следовало. — Афанасием кличут. Воевода астраханский я.

— Из московитов, что ли, дворянской семьи? Что-то не припомню у нас таких.

— Нет. Из мелкопоместных. Ярославские мы. Отец служил здесь в Большом полку, воевал с Дивлет-Гиреем, был ранен в боях у Молоди, с тех пор обосновался под Угличем. Моя тётка Ирина Жданова находилась при дворе Нагих в Углическом уделе, состояла кормилицей царевича Дмитрия.

— Твоя тётка — и кормилицей царевича? Надо же! Неисповедимы пути господни. В ногах правды нет. Присаживайся, воевода, — сказала и указала тонким перстом на стул возле стола, на котором лежали поверх разукрашенной карты Московского государства свёрнутые в свитки бумаги и несколько толстых книг в красных сафьяновых переплётах.

Афанасий хотел было воспротивиться, перед царицей, мол, стоять должно, но Марфа, заметив его растерянность, настояла на своём.

— Садись, садись, воевода, разговор длинный.

Афанасий прошёл к столу и, присев на краешек стула, снова украдкой посмотрел на сидящую в профиль Марфу, пытаясь по её лицу определить, что сулит ему встреча. Он прекрасно понимал, что от того, какое решение примет сейчас эта женщина, целиком зависит его судьба, и не только его, но и предприятия, которое он задумал и уже начал осуществлять. Очень уж могущественна была царица. Крест нести пришлось бы всему роду Тучковых, и в первую очередь ему и старшему брату Бажену, который со всей дворней и семьёй жил под боком — в Москве и который целиком и полностью поддерживал эти начинания.

— Не удивлён, воевода, что я тебя принимаю? И не где-нибудь, а здесь, в самом Кремле.

— Не знаю, что и молвить.

— Не юли, вижу, что удивлён. Потом поймёшь. Не всё же время мне вдали сидеть. Тем более мой монастырь сейчас в крепость превращён, на осадном положении почти. Я хотела монахинь

отправить в Троицко-Сергиеву лавру, но они, причём все, против, хотят врага польского здесь, в Москве, встретить, помощь оказывать царским полкам. Может, оно и правильно. Ты, кажется, тоже однажды в свите польского посольства состоял. Или не так?

— Нет, матушка, я с Дмитрием Иоанновичем был. Это же...

— Замолкнь! — грозным голосом перебила его царица, вскинув вверх смоляные брови. — Ты хочешь сказать, что ты настоящему сыну царя Иоанна Васильевича служил?

— По всему так, матушка, — тихо ответил Афанасий, опустив глаза долу, и гробовая, зловещая тишина повисла в палате, такая, что негромкое щёлканье спиц монахинь в соседнем зале резало ухо.

— На том стоять будешь даже под пыткой? — нарушила напряжённое молчание монахиня.

— Буду, матушка, — встав тяжело со стула, ответил, не покривив душой, Афанасий. Внутренне приготовился к самому плохому. «Чему быть — того не миновать», — видимо, решил.

— Сядь, сядь, защитник, — махнула недовольно рукой Марфа. — Не прав ты. Он есть и навсегда будет беглый монах-расстрига Гришка Отрепьев, а никакой не Дмитрий. Так решили Дума и патриарх, который публично осудил его. Этого не изменишь. А ты — «Дмитрий Иоаннович»! Какой он Иоаннович? Самозванец он и есть самозванец. Ну ладно, чего старое ворошить, и без того лишений, всяких напастей хватает на Руси.

— Я с ним, матушка, с первого дня его бегства из Углича, — стоял на своём Афанасий. — Дмитрия-то спасли люди добрые, чувствовали или знали, что неладное в стране с приходом к власти Годунова затевается, они и подменили. Наёмники Битяговские глотку перерезали не ему, а его сродному брату Григорию. Убогий брат был, блаженный, слаб умом, телом, но похож сильно, даже родинка такая же на носу была, и рыжеватый, как Дмитрий.

— Упокой, Господи, душу раба этого, как ты глаголешь, Григория, — перекрестилась Марфа. — Но не об этом сейчас речь, хотя интересны твои речи. Ты вот что скажи: как ушёл со службы самозванцу? Провинился чем или дошло, что не тому служишь?

— Не смог я терпеть высокомерие ляхов, их

наглость, чванство. Из-за Марины ещё. Марина Мнишек — жена Дмитрия, его сподручница, меня не приняла, травила, не доверяла.

— Своенравная, спесивая шляхтичка, путался ты у неё под ногами, алчным замыслом, делу её мешал. Она спала и видела, как царицей стать. Вот и вытолкала тебя.

— Делу мешать не мог. За веру служил. Сам попросился подальше от них. Дмитрий согласился и не стал неволить, отправил меня в Архангельск. Я по разрядному приказу уже числился воеводой, сила в руках большая, поэтому и отпустили легко, опасаться стали.

— Понятно. Я самозванцу тоже кое-чем обязана, небось, знаешь, он мужа и всю семью Николая, брата Филарета, из ссылки вернул. Плохо другое — что ляхов и евреев привёл на Москву. Врагов — на родную землю, что это как не предательство?! Марину коварную, шлюху эту, притащил с собой. Она даже из могилы грозитися новыми набегами на Московию. Один только любовник её Ванька Заруцкий чего стоит. Разоритель, тать, сколько страданий, горя принёс на Русь. Правда ли, что Марина из католичек в православные перекинулась?

— Выходит. Она икону Богородицы целовала.

— Слышала я о том, но не думала, что она такая дура, — кто ей поверит? Чего не сделаешь ради престола! Самозванец тоже туда же, он, наоборот, тайно католичество принял. Так, нет?

— Так, матушка. Я, когда узнал об этом, был сильно смущён, долго не находил объяснения. Стал высказывать ему, что не дело так поступать, но он обругал меня, сказал, что лжа это, злые наговоры шляхтичей, что он блюдёт веру истинную, православную. Иначе де как он может стать царём в православном государстве, будучи не той веры. Всё это ложью оказалось. Отцы-иезуиты, чтобы получить благодарность и мзду от Ватикана, в этом деле замешаны, они спят и видят, как бы Русь сделать католической. Я не верил ему, из-за любви он всё, Марина как хотела, так и крутила им.

— О какой любви ты говоришь, воевода, коли он с Ксенией, дочерью царя Бориса Годунова, в то же время жил, считай, полгода пользовал, обещал жениться, а Марину под венец повёл, на царство с собой посадил. Еретик, подлец он, каких свет не видывал.

— Тут я согласен, матушка, — опустил воевода глаза, вздохнул тяжко, виновно, как будто сам в обмане был замешан. — Я Бориса не любил, а о Ксении ничего плохого сказать не могу, славная была царевна. Подлость зачлась Дмитрию, Шуйские всё ему припомнили. Меня в то время не было на Москве, но я наслышан, знаю.

— Что мне Борис, я сама его недолго любила! Ксения была первой красавицей на Москве, умницей, мастерицей. Она же от Дмитрия, тьфу, от Гришки Отрепьева, родила ребёночка — мальчика в монастыре, он почти сразу умер. И поделим, Бог всё видит, нельзя самозванцев плодить, — монахиня надолго замолчала, глядя задумчиво в окно, и продолжила уже деловым голосом. — Ладно об этом. К делу перейдём. Мне докладывали, что ты обоз привёл из Архангельска с серебром и пушной рухлядью, рыбой, мясом, богато сдал в казённые приказы. Что ж, добро, Москве твой обоз весьма кстати. А забота твоя в чём? Говори, слушаю.

— Дело серьёзное, матушка. Весьма. Всё то добро я из Мангазеи привёз. Туда морем ходил. В граде Мангазея уже два раза был с купцами вместе, с товарами для торга.

— Мангазея... Да, краем уха слышала что-то. Что это за город? Где он? Показать можешь, как ходил, каким путём? — живо заинтересовалась матушка, закидала вопросами.

Афанасий достал из-за пазухи свиток, развернул и расстелил на столе, показав на карте подвернувшейся заколкой мангазейский морской ход в подробностях.

— Вот Архангельск, вот Холмогоры, с них начало, вот Белое море, — увлечённо рассказывал он. — Вот волок канинским ходом, дальше Московское море и проход между Вайгачом и материком, дальше Нарзямское море, ямальский волок, меж Нейтинскими озёрами, Мангазейское море и река Таз. На ней и сама Мангазея. Вот она! И это не предел, из Мангазеи можно по Худосейке волоком на Енисей и дальше на восток идти, просторы Сибири необъятны. И в Мангазее, и на Енисее злата пушного немерено, места там нетронутые, богатства сами в руки просятся.

— Златокипящая Мангазея, выходит, — подхватила восторг Афанасия Марфа. — Так, что ли? — и посмотрела оценивающе на него. — Эвон куда тебя занесло, воевода! На край земли, выходит?

Ну, рассказывай, как там, и всё по порядку давай, в подробностях. Чем ещё богат Мангазейский край, какие ещё есть промыслы?

Ободрённый заинтересованностью Марфы, Афанасий присел (в ногах правды нет, как Марфа сказала), облизал пересохшие от волнения губы, огладил ладонью густую курчавую бороду и заговорил обстоятельно, неторопливо:

— Прежде всего богат и красен сам град Мангазея, он на высоком берегу Тазовской губы стоит, кораблям, что речным, что морским, удобно чалиться в гавани, что для торговли немаловажно, две церкви в нём православные, большие, знатные, часовня видная. Лабазов, складов не счесть, вокруг стеной крепостной опоясан, пушки на стенах, охрана из стрельцов опытных, и немалая, словом, хорошо от набегов защищён. Главное, как я разумею, в граде живут люди работные, рисковые. Полторы тысячи где-то таких у мангазейских воевод: и казаки, и стрельцы, и рыбаки, и охотники, и пришлые бедовые людишки есть, больше архангельские, но и из других мест. Поморы, кормишки, купцы, иностранного люда много, аборигены местные — самоеды наезжают. В общем, всякой твари полно, матушка.

— Вестимо, завсегда так, новые места лихой люд обживает, — прервала его пылкую речь матушка. — Я грамоты тобольских воевод читаю, так что в знаю, что на моей земле творится. Меня другое интересует. Есть ли в тех землях серебро, золото, руда медная, ещё что-либо ценное? Обо всех ли богатствах мне подданные доносят, не таят ли что от казны?

— Таить в тех краях нечего, матушка, всё на виду — тундра, на сто вёрст всё просматривается, не укрыться, не спрятаться — ни деревьев, ни деревень, ни выселок. По берегам рек да по губам — лес только, пушного зверья в нём полно, а пушнина, матушка, дороже и выгодней золота идёт. Серебро, медь тоже недалёко, их на Камне валом, только искать надо. Урал-горы — в трёх днях пути будут, если на оленях от Мангазеи идти. Чего ещё-то надобно! — невольно повысил голос Тучков.

— Ты голос не повышай, — мгновенно отреагировала Марфа, недовольно поморщилась, встала, прошла мимо вмиг присмирившего Афанасия, в волнении теребя чёрные бусинки чётков. —

Я ведь к чему завела этот разговор: мне кажется, не всё отдают в казну воеводы ваши, а особенно тобольские, чрезмерно липнет к их рукам, думаю. К тебе-то у меня претензий нет, а вот к ним... Не слыхал ли что?

— О том не ведаю, матушка. Знаю другое: что мимо рук наших, то бишь государственных, проходят без пошлины девять из десяти судов — английских, ганзейских и прочих заморских купцов. Вот где выгоду выпускаем, матушка. Они до чего же ловки, кручёны, умеют умаслить, товар продать с выгодой. Вот у кого учиться надо.

— Неуж так, воевода? Ну-ка поподробнее.

— Ходил я, матушка, по сибирским морям, рекам с иноземцами, зорко и дотошно к ним присматривался. Канальи те ещё, выгребут всё подчистую из наших вотчин. Наши купцы не успевают за ними, им крохи остаются. Те развернулись широко, куда нам до них! У них деньги большие, корабли мощные, вооружение, поддержка государства. А мы сами по себе действуем. Если что берём — то мелочь по сравнению с иноземцами. Так и эта мелочь расходуется не на расширение торговли, не на увеличение флота, а на охрану судов, на их починку, на подкармливание местных князьков, бояр московских.

— Знаю, куда гнёшь, воевода. Поддержки просишь купцов иноземных прижать, князьков, бояр зарвавшихся, — перебила его матушка. — У нас ведь испокон веку так повелось: без подарков, без мзды ни одно дело не сдвинется. Что ты тут сделаешь? Ты сам что против этого предложить можешь?

— Прижать их, матушка, надо, и крепко, да не в моей это воле. Нам бы с товарами разобрататься, порядок навести, уж больно дороги они, особенно против тех же немецких, и мало у нас их, выбора никакого, нам на обмен местным предложить нечего.

— Ты, конечно, дело говоришь, есть над чем подумать. Льготы-то купцам иноземным не мы выдумали, их ещё Иоанн начал даровать, потом Годунов расстарался, дворы европейские всё умасливал, защиты искал, благодарности. Не дождался, наоборот, совсем на шею сели. Мне благодарностей от этой Европы ждать ни к чему. Начнём, не сразу, конечно, но поприжмём их чрезмерную прожорливость, — поджала сурово Марфа губы, Афанасий

сий затих, ожидая дальнейших слов. — Шуйские к этому тоже руку приложили, да и дружок твой Гришка Отрепьев тоже не зря жидовский и польский хлеб с маслом жрал. Никто о России не думал, все только о своём брюхе заботились. Не скоро ещё кабальный договор кончится. Расторгнуть его сейчас мы не имеем права. Где он тут у меня? А, вот. На, прочти. Грамотен, должно.

— Обижаете, матушка.

— Ладно, время не терпит, на словах скажу. Не до того сейчас нам, чтоб с этим договором разбираться, забот и так полный рот. Война идёт, враг почти у стен. Войско измотано. Год, даст бог, продержимся, а дальше что? Казну надо пополнять, что только для этого ни делали, и кабаки новые пооткрывали, лавки, где только можно, вином крепким напропалую торгуем. Народ голодает, ему бы хлеба больше, а мы его травим. Мытарей везде поставили, чтоб ничего не пропадало от винокурения. В казну прибыло, но это же крохи. Вернуть бы деньги, разворованные всякими лжеправителями, да где там! Захоронены, растрчены попусту — себе, врагам в усладу, России во вред.

— Строгановых если потряхнуть? — предложил Афанасий.

— Своим умом дошёл? Может, услышал что-либо про это? — искоса, недоверчиво взглянула на него Марфа.

— Своим живу, подслушивать не научен. Не понял я, к чему вы это, матушка?

— О Строгановых что знаешь, спрашиваю? Не понятно, что ли!

— Встречался я с ними на Каме, давно, правда, ещё при Дмитрие, видел их город, промыслы, копи соляные. Богато живут, с размахом, потому и говорю. Сейчас, слышно, в Сибирь, к нам сети забросили. Деловые люди, работные.

— Ну, в Сибирь не сейчас, положим, а ещё при Иоанне Васильевиче туда стопы они направили. Строгановы — хребет России, нам бы таких Строгановых семей двадцать — тридцать на всю Россию, так завтра же можно было со всеми врагами покончить. Мы тоже хороши, их так обложили, что хребет трещит. Шестьдесят тыщ подати в год Дума постановила. Дело ли — купцов гнобим, сук рубим, на котором сидим. А никак иначе! Ляхи не сегодня завтра к Москве подойдут, обложат. Не

желает польский круль признать Михаила царём. И тут тоже без твоих дружков Гришки Отрепьева и Марины Мнишек не обошлось. Лжедмитрия прибили, сучке этой башку отрезали, а всё мало, теперь этот Владислав, польский их покровитель, на русский престол метит. Его ведь на него короновали даже. Так или нет? Что молчишь? Где помощь брать, чтоб от него отбиться? И Филарет, как назло, у поляков сидит, который год насильно держат, препятствуют освобождению, козни строят, больших денег — аманатов просят за освобождение. Везде деньги, деньги, деньги, а где их взять? У богатых бояр да именитых евреев только, да их перерезали, передушили ополченцы Минина и Пожарского, по окрестным лесам и весям вылавливаем. А сколько уходит на посольства в западных государствах! Одних сибирских соболей — тыщи, а толку — чуть. Везде отказывают, пнуть норовят, обмануть. Ничего-ничего, встанем на ноги, тогда посмотрим, кто посмеет в наш огород камень бросить. Ты, должно быть, слышал об этих делах?

— Каких, матушка? Насчёт посольств, то так и есть, слышан. О том даже простые люди глаголют. Мало хорошего.

— Что мало, то мало, правду люди глаголют. Послы у нас никуда, одни неприятности от них. Головы бы им порубать за службу такую.

Афанасий хорошо сведущ был о посольских вывертах. О них наперебой рассказывали не только в Первопрестольной, но и в Архангельске, даже до Мангазеи от иноземных купцов слух докатился о том, какие московские послы душечки, какие бессребреники, как легко расстаются с соболями, раздаривая их направо-налево. А уж как лихо по неделям не выходят из кабаков, шастают по гулящим девкам, пропивая, проматывая казённые деньги. В Гамбурге, например, Голица и Выргоз напились до чёртиков и покушались на честь знатной вековухи-англичанки. В Гааге Требецкой и Ратник, будучи в гостях у вельможи и державного казначея, пытались растлить безмерно вертящую аппетитным задом его дочь. Дело дошло до того, что в некоторых городах Европы, в Вене, в Варшаве, например, знатные женщины боялись выходить в свет без солидной охраны. Пьяные москвиты гонялись за женским полом, устраивали в уважаемых домах драки, охотились не только за знатными, но

и не брезговали проститутками, которых после потребления гоняли, глумясь и куражась, по улицам города. У австрийского императора, в конце концов, лопнуло терпение, и он приказал выставить «уважаемых» дипломатов за пределы государства. Дома дипломаты спесь поубавили, появились перед владычицей Марфой с опущенными головами, со слезами на глазах, с просьбой о помиловании. У Марфы тоже терпение, видать, лопнуло, никого не пощадила, головы не поотрывала, но лишила звания, сослала в захолустья. Крутая, как уже говорилось, правительница.

— Нам бы сначала шведов поприжать, потопить, что ли, кораблей несколько. Ну, не знаю, как ещё, — продолжила разговор о деле Марфа. Нравился ей своей прямоотой, простодушием воевода, вот и не скрывала от него, даже порой крамольные, свои мысли. — Англия обещала помочь против Швеции, её, что ли, привлечь? Только условия у англичан кабальные: тюленьи и китовые промыслы на Груманте уступить, беспопылинный проход учинить по Оби, Иртышу в Индию и Китай через Бухару, а по Волге — в Персию. Кроме того, обеспечить охрану их караванов от вольнолюбивых казаков, что засели в астраханских плавнях. Казаки там совсем распоясались, грабят без зазрения совести купцов всех мастей. Бесчинствуют, несмотря на наши грозные приказы, ставленников наших гонят, дать бы им хорошенько по шее. Да, совсем обессилела Москва.

На Порту, на крымских татар тоже была надежда, думали, поддержат нас против поляков. Не вышло, Порта с Персией не вовремя начала войну. Единственно, персидский царь дал взаимы, да и то каплю, — продолжила тихим голосом как бы про себя Марфа, сама, однако, не спускала глаз с воеводы, глядя по выражению лица его приятие и неприятие дел государственных. — Владислав по осени овладел без боя Дорогобужем, Ванька Ададунов-предатель сдал крепость, а знать поголовно присягнула полякам. Видано ли, подлость какая. Предательство. Теперь наших ратников заставят с нашими же сражаться. Воевода Михаил Шеин, князь Георгий Трубецкой тоже злыдни, с врагами нашими душа в душу живут. Сколько их, перебежчиков. Отчего, почему на Руси такое, а? От своих бед терпим больше, чем от иноземцев. Владислав с их помощью уже

до Вязьмы дошёл. Ладно, ничего, дай время, дождутся и поляки, и предатели — всем припомним, — лицо Марфы по мере разговора становилось всё жёстче, голос твердел.

— Один переход — и они в Москве. Вместе с Владиславом иуда Игнатий идёт. Знаешь такого? Ещё Гришкой Отрепьевым в патриархи провозглашён, в мутной воде рыбку ловит, власть поиметь хочет. При тебе дело было, когда он патриарший посох принял. Чего молчишь?! — грозно глянула на Афанасия владычица.

— При мне, матушка, — ответил, не скрывая хотя и горькой для него правды, Афанасий и снова почувствовал, как почти замогильным холодом опало его. — Я, матушка, знаю его давно и близко.

— Игнатий-то короновать Владислава на трон московский собрался. Мыслишь, с кем ты связывался? Так-то!.. Мы вынуждены были оставить Можайск, Борисов, люди за нами на Москву подались. Оставили богатые города на растерзание полякам и казачкам из Сечи и Дона. Гетман Конашевич тоже ирод, спит и видит, кого бы ограбить, почуял, где жареным запахло, быстро двадцать тысяч испытанных вояк привёл, чтоб разорить московские города и сёла. Только лютые морозы их остановили, а то вряд ли бы виделись мы с тобой. Мы-то не сидим сложа руки, не думай — ведём переговоры с Владиславом. Надо при нашей слабости как-то выворачиваться, хитрить, уступать. Может, договоримся, дай бог. В одном месте заткнёшь, в другом сыплется. Тут опять Господь посылает нам испытания, крымчаки зашевелились, разбирают засеки на Белгородско-Валуйском укреплении. Значит, весной жди в гости, нападут на Воронеж и другие южные города. А защититься нечем — значит, опять ищи деньги для выкупа детей и жён из рабства татарского. Деньги, деньги, везде деньги. Где взять их? Послали полк стрельцов на подмогу нашим заставам. Так разве это поможет? Не удержат. А больше нет, всё, что смогли, оторвали, — неожиданно, как-то затравленно и несколько даже обречённо посмотрела на воеводу матушка. — Одна надежда на позднюю и холодную весну — если не даст она травы для прожорливых лошадей крымчаков, тогда спасены. Спокойно только лишь у тебя в Сибири — на Востоке то бишь. После присяги Кучума тихо. Пока

только хорошо известно, что верность татарина зыбка и непостоянна, подл он до безобразия. В основном из ваших дальних краёв и ждём помощи: людьми, деньгами, пушниной, золотом, на вас надежда в первую очередь. Есть думы, что сейчас надо сделать для пополнения казны? Что можешь предложить?

— Есть кое-что. Вот самая, пожалуй, существенная. Корабли до Мангазеи туда-обратно ходят два лета. Если приложить руки, воспользоваться старым ямальским волоком, преобразовать его в канал, а не ходить по длинному пути, огибая остров Белый, можно оборачиваться всего в одно лето. Значит, увеличится оборот вдвое и казна пополнится вдвое. Кроме того, за использование канала другими купцами брать деньги, у кого нет — товар. Вот ещё выгода.

— Иноземные купцы не заартачатся, не начнут рогатки ставить?

— Куда они денутся? Купцы считать умеют, навар за версту чуют. За год обернуться или за два, дитю ясно, что выгодней, — рассудил воевода.

— Сколько может в этом случае дать твоя северная Сибирь? Вот тебе для сведения что раньше брали с Тобольска. При Иоанне Васильевиче по челобитным, из грамот выходит, что ясака и податей с Сибири брали до двадцати тыщ соболей, двух тыщ куниц, столько же почти лисиц. Через пятнадцать лет при Федоре Иоанновиче в первые годы его царствования в казну было доставлено уже двести тыщ соболей. В десять раз больше! Чувешь? Десять тыщ чернобурок, столько же куниц. А сколько Тобольск поставил в прошлом году? Ведомо тебе?

— Нет, матушка.

— То-то! — Марфа многозначительно подняла бровь. — Столько же, сколь при Иоанне Васильевиче. Смех. Почему? В чём дело?

— Я думаю, из-за разбоев, начиная с татар и инородцев в самой Сибири и кончая здешними на подступах к Москве, всякой швалью, бандами поляков, казаками. Дальше из-за того, что сами товару стали меньше на обмен возить, иноземным купцам торг отдали — им воля, а с нашей стороны — попустительство. Я что хочу: такой морской путь наладить, чтоб охрана кораблей была надёжная, чтоб заставы военные стояли на волоках, на каналах, на обзорных, далеко видных местах, тогда нам нипочём засады разбойные,

нас бояться как огня будут. Наш купец крылья расправит, без опаски товар повезёт, торговлю расширять начнёт.

— Тебе от того какая выгода, лично тебе? Все мангазейские барыши тебя минуют. Выходит, за Россию радеешь, воевода? — пытливо глянула матушка в глаза Афанасия. — Отрадно! Ну и что в итоге?

Афанасий помедлил, огладил бороду и начал:

— Я так смекаю, матушка, через год тыщ сорок от Архангельска с учётом Мангазеи получим, что вдвое больше, чем сейчас. Через два — вполне по силам ещё раза в два прибавить, ну а дальше на Енисей выйдем, там вообще нехожено, богатств уйма. Для этого и нужна державная помощь. Без государства тут никак. Тут и защита военная от разбоя, тут и помощь в строительстве морских судов, тут и потребность в обученных мореходах, кормицах, товары нужны будут разные на обмен, на продажу, нужно будет оружие. Как ни странно, а сейчас берём товар из Новгорода, Пскова, а почему московских купцов не подключить? Хватит и иноземцам потакать. Обложить их настоящим налогом — пускай на нашу казну работают, чем на свою. На наших же землях промышляют, торгуют. Нашим купцам, наоборот, больше свободы дать, пускай богатеют, разворачиваются, казна от этого только выиграет.

— Ого, не думала, воевода, что ты так широко мыслишь, по-государственному. Что ж, всё в наших руках, всё, что ты сказал, вполне выполнимо. Тебе остаётся не сбиться с выбранного пути, блюсти интересы государя, он в свою очередь забудет твои прегрешения перед престолом. Понял ли, о чём я? О твоём прощении. — Марфа пытливо прищурила глаза.

— Понял, матушка. Век не забуду милости вашей.

— Что ещё? Говори, пока не передумала, дух государев переменчив. Что нужно сейчас именно, чтоб дело пошло?

— Высочайшего соизволения. Именного указа государя. Грамоты нужны мне и моим людям, что будут они по праву осваивать и править в сибирских землях. Порядок в Сибири установить должно, чтоб раз и навсегда, и поддерживать его всенепременно.

— Круто берёшь, воевода, а не надорвёшься,

осилишь? Не будешь потом в ногах валяться, прощения просить, что не справился, не рассчитал.

— В самый раз, матушка, — твёрдо и коротко ответил Афанасий. — К указу и грамотам уже в эту экспедицию надо обязательно присовокупить охрану из стрельцов, к ним — оружие, порох, снаряды, нужны будут люди работные, мастеровитые, нужны кормишки, мореходы. Вот, пожалуй, самое основное, без чего и дело затевать не стоит.

— Это понятно, это решаемо, а деньги что не просишь? — Матушка сплела руки на груди.

— Десятую часть прибыли прошу, матушка. Деньги не на ветер, не в карман, они пойдут на прокорм людей, на строительство кочей, других судов, на оружие, которое докупать придётся, ведь у государства нет. Вот, матушка, у меня ещё челобитная, взгляните — в ней всё расписано. — Афанасий достал из-за пазухи свёрнутый тугой свиток и с поклоном передал Марфе.

— После, после. Внимательно надо посмотреть, — с уважением и в то же время с недоверием глядя на Афанасия, положила Марфа свиток на стол. — Заранее сработал, предвидел ситуацию? Надеюсь, здесь всё обстоятельно и глубоко изложено так, как всё на деле станет. Надеюсь, без приписок, прикрас, — пытливо, из-под бровей глянула на Афанасия Марфа. — Ну-ну, а чтоб дело запустить, сколько серебра, злата надо, на словах, прямо сейчас можешь сказать?

— Сейчас, гм-гм, — зачесал голову Афанасий, не ожидал такой оборотистости от монахини, но испросил скромно, не стал пальцы загибать. — Сейчас надо только на дорогу до Архангельска. В Архангельске, при указе и грамотах на руках, сами добудем, если, конечно, лях Лисовский не разграбил город. Вряд ли он, конечно, туда сунется, город хорошо укреплён. На стенах пушки, стрельцы, пушкарки хорошо обучены, стрелять, воевать умеют, по зубам враз дадут. Там я потрясу купцов, монахов соловецких — дадут, у них немало серебра, злата в загашниках. Убедим, заинтересуем, должны выгоду в освоении сибирских земель для себя увидеть, обязаны! И дадут. Новгородские мужи помогли в своё время Минину и Пожарскому, дали на освобождение Москвы, а здесь для той же Москвы, только для защиты и укрепления её стен.

— Ишь ты, куда махнул — Минину и Пожарскому, — хмыкнула Марфа. — Дали!.. Минин и Пожарский заставили дать, выгребли деньги у богатеев и купчишек. Ты не слыхал, что ли, как дело было?

— Нет, матушка, — с любопытством наострил уши Афанасий.

— Так и быть, расскажу. Хотя и так засиделась с тобой. Не по чину мне, да и без тебя дел невпроворот. Ну да ладно. В общем, когда собрали ополчение, то призадумались, как полковую казну Пожарского наполнить. Пошли к купцам, те зажались, клялись, что во время смуты у них все деньги выгребли. Пожарский сделал умный ход, послал стрельцов и арестовал жён, детей, почти всех зажиточных мирян, посадских и посадил. Опося за деньги стал освобождать их. Перед продажей объявил, что если кто не явится для выкупа, то баб и детей разъединят и продадут туркам в Корфу. Понесли деньги как миленькие, у всех нашлись. Видишь, какую смекалку проявили Минин с Пожарским. Честь и хвала им обоим, — с гордостью сказала Марфа, чуть повысив голос. — Теперь ты о Лисовском расскажи, велико ли у него войско, настолько ли грозно, как пугают?

— Точно никому не известно. Он хитёр, разделил войско на три части, и те действуют по отдельности. Малым числом легче прокормиться на наших разоренных землях. Когда затевают большой набег, то по секретному сигналу собираются в кулак и нападают сообща. У него разбой чётко поставлен, в каждом городе, в каждой вотчине лазутчики, соглядатаи есть. Откуда ему, скажем, было знать о выходе нашего обоза. Мы это в строгом секрете держали. Он всё равно узнал, напал, хорошо, мы ожидали нападения, подготовились, дали отпор. А в прошлый раз мы ни ухом ни рылом, он и застал врасплох, напал и полностью разграбил, научил нас. Тогда, правда, о нём даже слухов ещё не было.

— Как мыслишь, есть ли его осведомители среди твоего приказа? — Марфа зорко глянула на Афанасия.

— Не знаю, но подозреваю, что есть. За дьяком одним присматриваем, но уж больно ловок, скользкий, как уж, всё время ускользает. В этот раз сотни две только конных напало, их собрать время надо, ясно, что заранее оповестил кто-то. Его дело, должно. Ничего, отбегается — высле-

дим, выловим. Тут главное, чтоб охрана была добрая, тогда никакие осведомители, лазутчики не страшны. Стрельцов обученных, боевитых больше надо, казачки — те для этого негожи. Они сегодня за меня саблями машут, а завтра меня ночью зарежут за врагов моих. И всё из-за корысти — жадный, коварный люд, сброд же в основном, беглые к ним идут, мазурики.

— Неужели сотни две напало, откуда столько? — усомнилась матушка. — Как отбился? Сила-то для простого обоза немалая.

— Предчувствие, матушка. Часть конных перед тем послали другой дорогой — лесными тропами, в обход с проводником. На двух санях у меня были упряты пушки, о них не только лазутчик, но и свои мало кто знал. При атаке конных мы пушки развернули и ударили по ним картечью, почти сразу треть войска вывалили. В стане врага началось смятение, разброд, кто назад побёг, кто по инерции вперёд скачет. Тут наши конные подоспели, что с тыла в обход ушли, и ударили дружно в спину, взяли многих на пики, порубали саблями. Добро, люто побили разбойников, считай, половину из двухсот на тот свет отправили, до четверти в плен взяли. Лисовскому только с несколькими всадниками удалось уйти. Моих полегло всего девять человек, а могло быть намного больше, если бы не пушки. Господь Бог помог да ещё природа наша русская. Зимы-то у нас снежные, снегу по брови наваливает, наши конные налегке ходят, а у татей конница тяжёлая, неповоротливая, с нею легче справиться.

Марфа чуть помолчала и спросила:

— Куда пленных дел?

Афанасий обреченно развел руками:

— Приказал повесить, матушка. Вынужденно, их же охранять надо, перевоспитывать недосуг, я боялся, что Лисовский оправится и опять нападёт. Они в таком случае обузой будут, а при недосмотре помогать своим бросятся. В бою-то с них станется. Ничего, разбойникам за то неповадно, будут знать, что их ждёт за посягательство на чужое добро. Теперь они от злости зубами скрежешут, на меня зуб точат, изучили мои повадки, хитрости, поджидают, когда с новым обозом в Сибирь пойду. Потому-то, матушка, и прошу помощь людьми ратными, обученными военному делу, а ещё лучше в деле, в битвах побывавшими, стрельцов бы сотню хотя бы.

— Свои-то служивые плохо, что ли, обучены? Или за глаза, как шоша с ерошей, набраны?

— Почему?! Нет, они у меня битые, в боях с ляхами испытанные, только, говорю же, мало их. А враг, как уже сказывал, серьёзный и немалочисленный, не шайка, а войско.

— Мне ещё вот что сомнительно, неужели на тебя сам Лисовский напал? — продолжала своё Марфа, не отвечая на просьбу. — Может, ватага супостата Янки Баловня или Захария Заруцкого? Захарий-то лют, за брата своего Ваньку всех готов убить.

— Мне зачем выдумывать? Пленные его выдали. Я, кроме того, повадки его знаю, встречался с ним в Польше, в походе на Москву. В Киеве у князя Острожского на приёме также вместе с ним и Дмитрием были, — Афанасий чувствовал, что говорит лишнее, но при своей открытости — душе нарапашку, при своём простодушии не мог и не умел таиться, промолчать, когда требуется. — И тут при обозе в бою узнал я его, сошлись мы на саблях, но он ловчее меня, гад, оказался, достал клинком. Своих гикнул и ушёл. Догонять не стали — с оставшимися бы сладить.

— Сильно ранил?

— Кафтан рассёк и грудь слегка помял. Слава богу, броня отцова на мне, она защитила. А то бы лежать мне, матушка, в земле сырой, ушиб сильный был, долго болел.

— То-то вижу — бледный ты. — Матушка участливо покачала головой.

— Бог даст — затянется. На мне, как на котике. На морском, имею в виду, — усмехнулся Афанасий.

— Скажи, а Лисовский как атаман, как стратег силён ли? Что нам от него ждать?

— В военном деле он, что и говорить, весьма борзо способный и хитёр к тому же. Сам всеми видами оружия владеет, дерётся дай бог каждому. Не одного меня сумел, наших многих достал, — потупил Афанасий взгляд. — Люди его тоже хорошо обучены, в бою ловки. Он не просто разбойник: грамотен, расчётлив, боевит, с англичанами, австрияками дружит, корыстолюбив, выгоду за версту чувствует, не упустит.

— Вот как! Я была о нём худшего мнения. С такими способностями ему, пожалуй, и твой Архангельск по плечу. Смогут ли твои люди без тебя отстоять его?

— Должны, матушка. Там есть кому без меня отпор дать. Тот же сотник Поленов, славный воин, у него две сотни проверенных в боях стрельцов, двадцать пушек, местное воинство. В случае чего можно ополчение собрать. Лисовскому сейчас не с руки на Архангельск идти, ему выгоднее на Москву повернуть, Владиславу на подмогу. Владислав недалеко от нас уже шатры развернул. Вот где можно пожить. Он это чувствует и наверняка так поступит.

— Понятно, что за птица этот Лисовский. Теперь скажи, а как в Архангельске с хлебом? Хватает ли?

— Слава богу, есть хлеб. Всем хватает. Предвидели, что зимой туго будет, и ещё осенью прорвались наши обозы через шведские заслоны с большими запасами муки. Вот соли мало, солью тогда же нерасчётливо оплатили хлеб и муку.

— Понятно. Поможем солью, порох, людей, стрельцов тоже дадим. Ружей и пушек нет. Сейчас никак, сам видишь, что творится. Обложили Москву, обороняться нечем, кольями против ядер много не навоюешь, — тяжело вздохнула Марфа, с усилием поднялась, повела по-царски рукой к выходу, показывая, что свидание закончено.

Афанасий встал, хотел откланяться как велено, но Марфа остановила.

— Готовь обоз, воевода! — отчеканила твёрдо она. — Дело твоё важное. Успешным должно быть! В Москве зря не задерживайся, нечего твоим казачкам дебоши устраивать, своих забияк полно.

— Благодарствую за всё, матушка. Дай бог здоровья тебе, — в пояс поклонился Афанасий. Хотел сказать, что быстро из Москвы не получится, на одни сборы месяц без мала уйдёт, но увидел, как задумчиво потяжелел взгляд Марфы, промолчал. Понял, что не вконец, не совсем то есть, его она простила, ещё борется с сомнениями, наверняка думает: заковать или отпустить с миром воеводу? И решил, что лучше на данный момент убраться подобру-поздорову и как можно быстрее.

— Запомни, воевода, я уделила тебе много времени только потому, что затеял ты большое дело — государственное, для России важное. Теперь ступай с богом, — промолвила она, не оборачиваясь, вслед Афанасию.

Изгнания, насильственный постриг в монахи, лишения, высылка любимого мужа в иночество, несправедливые гонения правителями, начиная с Бориса Годунова, заботы о молодом, но уже царствующем сыне, переложение его дел на свои плечи, незаслуженные упрёки, подковёрные козни приближённых к трону людей закалили и в то же время ожесточили её характер, сделали непреклонной. Самое страшное, что пережила она — это пять лет жизни без сына, которого ещё совсем маленьким отобрали. Любовь к нему была безмерна, она едва сумела перемочь эту пытку. Заслуга её перед Отечеством огромна и состояла прежде всего в том, что она спасла его, будущего монарха, от клинков польских, не дала на развратное воспитание алчущей родне, тем самым сберегла его для исторически важных, праведных деяний.

Афанасий понимал: спасли его от справедливого наказания, от опалы, а может, даже заточения неподъёмные тяготы земли русской. Одно только то, что он был пособником Лжедмитрия, что сам лично подбивал казаков, разбойных людей в поход на Москву, довольно для плахи. Несмотря на это, воевода пошёл на встречу с Марфой-царицей, мог ведь затаиться где-нибудь в Сибири, но он все равно шёл, и не вину вымаливать. И даже не полководческие услуги, на данный момент очень востребованные, предлагать, а шёл с предложениями о росте величия России, о её могуществе за счёт сибирских земель. В подтверждение этому привёл обозы с товарами, с пушниной, мехом, рыбой с тех земель, подати за два года с архангельских поморов, мирян, с соловецких монастырей. И в самое время привёз, казна государева опустошена войнами, не на что не только пушки, а даже порох купить, а враг, как выше говорилось, у стен Москвы костры жёг. Можно бы ему и пересидеть лихое время в Архангельске, в Мангазее, его бы и не обвинил никто, не до ушедшего в Сибирь воеводы царю-батюшке, врага бы отбить, Владислав бы похвалил только, он же всерьёз хотел сесть на московский престол.

«Для меня, — думал Афанасий, — вроде бы и Владислав неплох, имя «Тучков» ему известно, он за невмешательство и наградить мог, вотчину какую-нито во владение дать». При последней мысли его даже передёрнуло, он постарался по-

быстрее забыть её — крамольную. Не о том они мечтали с Дмитрием с юных лет, не о деньгах, не о положении, славе — они о России думали, о её величии, негодовали, осуждали Бориса Годунова за его бесхребетность, за ущербную для России политику. Это уже позже благие намерения благодаря советникам Дмитрия, его бездумной политике превратили их замыслы в злодейство.

С такими разными, непростыми мыслями покидал дворец Афанасий. Он забрал у жильца пояс с саблей, перетянул тегляй ремнём, набросил на плечи поданную прислужником волчью шубу, скомандовал громко и властно — так, чтоб все слышали, что царский двор к нему благоволит:

— Лошадей давай! Бегом!

— Уже ведут, воевода, — склонился в подобострастном поклоне всё тот же слуга.

— Крикни возницу! Где он запропастился, чёрт дери его!

Ни на кого не глядя, он быстро сошёл с крыльца, трижды перекрестился на купола собора Ивана Великого, сияющего сусальным золотом, коротко прошептал слова молитвы и грузно сел в кошёвку. Кони тут же круто взяли с места, повернули около хором матушки Марфы и понесли мимо дворцов, храмов, возле царь-пушки.

— Стой! — неожиданно приказал Афанасий.

Возница резко натянул вожжи, осадив захрипевших, набравших бег рысистых ездовых.

Тучков вылез из кошёвки, медленно подошёл к пушке, сотворённой знакомцем и умельцем мастеровым Андреем Чоховым, ласково погладил её холодный латунный лафет и проговорил с досадой:

— Не пойму, хоть убей, не пойму, почему у такого отменного мастера пушка всего один раз выстрелила. Выстрелила-то чем — прахом Дмитрия Иоанновича, растерзанного и сожжённого на костре. Может, потому и разорвало тебя — плата тебе, счёт божий за несправедливо казнённого. Эх, повернуть бы твоё жерло на запад да вдарить настоящими ядерными зарядами по польским супостатам.

Постоял, погоревал — вернулся в кошёвку и погнал дальше за стены Кремля, из Спасских ворот — на Красную площадь, мимо крепких, основательных подворий бояр, между простых построек, меж лавок, посередь московского базара, наполненного суетой, руганью, спора-

ми, острыми запахами, смехом, визгом и пронзительными вскриками зазывал.

Воевода не слышал всей этой кутерьмы, глубоко ушёл в себя, ещё и ещё раз проверяя, не упустил ли чего при встрече с Марфой, а сам наметанным глазом подмечал готовность москвитов к нападению Владислава. Находил, что неплохо, даже более того, по всему было видно, что достойно должны встретить врага. Он, конечно, не видел всего, всех сил, что для отпора собрал Михаил, но по количеству пушек и дозора на прилегающей к Красной площади стене Кремля мог сказать, что их вполне достаточно, хотя и плакалась царица Марфа. И даже здесь, за стенами Кремля, он то и дело встречал вооружённых до зубов стрельцов, ополченцев, казаков. Мимо шли и шли отряды, полки вооружённых людей, катили в Кремль набитые снедью, оружием обозы купцов, пастухи гнали на бойню ревуший скот, отары овец. Неожиданно из корчмы, едва не подмяв кошёвку, вывалилась дюжина пьяных в стельку, вооружённых кто чем казаков. И сразу, схватив друг дружку за грудки, начали выяснять отношения.

— На какие шиши пьют? — спросил себя воевода и сам же ответил. — На казённое жалованье, должно. Значит, и казна не только не пуста, но и дюже набита. Ох, и хитрая бестия эта инокиня, — похвалил и одновременно осудительно покачал головой воевода. По пути несколько раз их останавливали дозоры стрельцов, с подозрением смотрели на воеводу, укутанного необычно для Москвы — в редкую волчью шубу, мохнатую бобровую шапку, на тёмного лицом, скорее нерусского, возницу, но грамота о беспрепятственном продвижении по стране, выданная на такой случай инокиней, действовала безотказно.

2. Брат Бажен

Поздно к вечеру, когда уже начало смеркаться, подъехали к дому брата Бажена. Бажен, старший брат Афанасия, увидев братца живым и невредимым, едва не расплакался, выпучил от удивления глаза и, распахнув руки, пошёл на Афанасия.

— Афанасий, ты?! Господи боже мой, живой, здоровый! Мы уже глаза проглядели, ждавши тебя! — вымолвил он восхищённо и радостно.

— А кто же ещё, знамо, я, — улыбнулся широко Афанасий, любил он старшего как никого более в своей родне. Они встрялись посередине просторного двора, обнялись, троекратно по-русски расцеловались, хлопая друг дружку по плечам, спине, как бы понарошку. Однако хлопки были настолько увесисты и ощутимы, что братьев пошатывало и они едва удерживались на месте.

— Слух, что ты обоз привёл, давно до нас долетел, а тебя нет и нет. Только вот донесли, что велено тебе в Кремль явиться! Уж не к самому ли царю батюшке... Хотя, постой, его же нет в Москве... Не к инокине ли, не пред её ли строгие очи являлся?

— Угадал, в Кремль я по делам был зван.

— Неуж царь, приехавши, звал, у самого побывал?

— Да нет, не у него. Молод он ещё, неопытен, чтоб важные дела решать. У матушки Марфы был. Челобитную-то, помнишь, вместе писали, отправляли, а вызвали и доставили меня туда одного.

— Вона как!.. Предвижу, что туго пришлось, слава богу, хоть живым выбрался. Как она, инокиня-то? Не зверствовала? — крикнул Бажен. Москвичи наслышаны о жестокости инокини.

— Никакой не зверь она, умная женщина, мудрая правительница. Болтают больше, язык-то без костей.

— Скажешь тоже. Она своих-то не жалеет, а чужих подавно. Родню — Салтыковых — и то удалила от трона, а приближённых, тех, кто был за Годунова, за Шуйских, всех — кого на плаху, кого в монастырь, а кого в Сибирь.

— Ну, Сибирью-то не меня пугать, — рассмеялся Афанасий. — Она для тех страшна, кто там не был, она для меня вторая родина. Места там давно знакомые, обжитые, — заговорил взволнованно. — Ты, конечно, Бажен, прав, рисковал я, на рожон лез. Меня ведь предупредили, что царь в отъезде, он молод, с ним без опаски, а матушка все мои грехи помнит, за них казнить могла запросто, но, видишь, не казнила — миловала, невредимым оставила, мало того — помощь обещала в нашем деле.

Получилось-то неожиданно. Нежданно на наши склады явился царский десятник Василий Кузьмин и спрашивает: «Где есть архангельский воевода Тучков? Здесь ли или умотал куда? Не

погиб ли в походах? Челобитную царю подал, а сам бог весть где шастает».

«Вот он я, воевода Тучков, весь перед тобой», — отвечаю, улыбаясь, я.

«Ты?! — набычился он. Строго, с прищуром глянул на меня и повелел: — Выходи из лабазов! В сани садись!» — и повёз, чёртов детина, меня без объяснений, без каких-либо лишних слов в Кремль, под охраной. Саблю перед хромами Марфы забрали, я-то думал, к Михаилу ведут, а он, видишь ли, с матерью поменялся, сам в монастырь подался, а мать — в Кремль. Оно вышло, что так даже лучше, всё равно без неё никуда, она всем заправляет.

— Не совсем так, он и его окружение тоже много делают. Царь монастыри не зря объезжает, силы собирает, к осаде готовится, чтобы дать достойный отпор Владиславу. Ну и как, чем дело кончилось? Главное-то — насчёт Мангазеи как? Скажи, не томи, не терпится мне.

— Порядок. Готовим обоз туда! Пойдём через Ярославль, Пермь, Архангельск в Холмогоры, как обычно, сушей, дальше — морем. Месяц сроку Марфа дала. Теперь уж на полных правах туда пойдём. Грамоты дадут, подписанные самим царём Михаилом Романовым, и другие необходимые бумаги. Матушка Марфа твёрдо обещала грамоты у него подписать и через десятника мне лично доставить.

— Не может быть! Неуж всё так удачно вышло? Нам и не снилось, мы на такое и не рассчитывали.

— Вышло, вышло. Можешь радоваться. Будет и канал на место волока на Ямале, будут и корабли, и оружие кой-какое, стрельцов, мореходов дадут. Будет доступней Мангазея, и не только она, но и более восточные провинции. Прирастать будет Московия северной Сибирью. У тебя само собой оборот возрастет. Что нам с тобою ещё желать?! — воскликнул радостно Афанасий, обхватил старшего в замок, чуть присел и легко оторвал от пола.

— Уймись, окаянный, — покраснел от натуги, болтая в воздухе ногами, Бажен. — Вот медведь сибирский. Все ребра помял, ну и силища, откуда у тебя, от деда, что ли? Тот тоже кобыл жерёбых на плечах носил. Поставь, говорю, на место, недавно же на рану жаловался.

— Вот чёрт дери! — воскликнул, передёрнув

плечами, воевода и опустил брата на пол. — От радости забыл о ране-то. Давай-ка, братец, налей доброго звару, того, что у тебя в погребе, отменное вино у вас — терпкое, игривое. Не грех нам по такому случаю и выпить.

— Так ведь пост.

— Ничего, дело великое с места сдвинули, простит нам Господь такую малость. Мы опосля замолим свой грех, а?.. — толкнул он пальцем в бок Бажена и подмигнул озорно.

— Что с тобой сделаешь, уговорил. Но сначала — банька. Давно ждёт тебя. Должно, выстоялась. После неё в самый раз и звар, и медовуха, и вино, что душе мило — всё в яблочко.

Баньки в те времена топились ещё по-чёрному — дым уходил из печи не через трубу, а через прорубленное в потолке оконце, оставляя на потолке, на стенах чёрный (потому и «по-чёрному») слой сажи. Только Бажен не зря же сказал: «выстоялась». Это в его понятии значило, во-первых, баню зело добро протопили, дали время уйти угару — выстояться; во-вторых, перед тем как мыться, сенные девки под надзором обмели и протёрли сырыми тряпками, лапником пихты (для запаха) потолок, стены, пол же подмели вениками, а после поскоблили и помыли водицей колодезной.

Вот и сегодня, только зашли они в предбанник, как из парилки девка сенная выскочила почти голая, в одних подштанниках, распаренная, раскрасневшаяся, замерла от неожиданности и испугу, как кобылка необъезженная, перед мужиками, но быстро оправилась, глаза шальные, огромные, со смешинкой лукавой выкатили. Сама крутобёдрая, груди как яблоки зрелые, тугие, соком налитые, соски торчком, в стороны. Залилась двойной краской, Афанасия в упор рассматривая. Афанасий тоже на неё уставился, глаз оторвать не может. Она в кулак прыснула и вон за порог предбанника.

— Постой, Аглафера! — окликнул её Бажен. Она за дверью затаилась, высунула баское личико с глазами томными, зовущими в проём. — Чего испугалась-то, это брат мой Афанасий, из Сибири прибыл. Намёрзся там, погреться хочет. Как банька-то, готова ли? Парок есть?

— Готова, готова, Бажен Тихоныч. Усё на славу сроблено, банька, как никогда, протоплена, аж уши заворачиваются, потолок, стены, полы про-

мыты с пихтою, поскоблены, запах стоит ядрёный, густой, обалдеть можно.

— Молодец, коли так. Ты вот что... Ты, когда мы с братцем попаримся, приходи спину потереть, тело, кости промять, мышцы отбить. Ручки-то у тебя молодые, сильные, а вот ему ой как необходимо это сейчас. Отваров, настоев, мазей принеси, я знаю, ты умелица, у тебя в запасе всё есть. Ранен он сильно, рана-то беспокоит, не заживает. Если одной трудно, ещё кого-нибудь прихвати из девок-то.

— Поняла, Бажен Тихоныч, прийдём, принесём, — сказала, дверью хлопнула и скрылась.

— Добра девка! Где таку выкопал? — заинтересовался Афанасий.

— Где выкопал, там нет, — усмехнулся довольно Бажен — знал, чем порадовать брата. — Умелица, каких поискать. Всё умеет: и мыть, и врачевать, и петь, и плясать.

— И банька хороша, хорошо выпестовала. А запах-то, запах и правда колдовской, — потянул носом Афанасий, как только зашли в парилку. Толк в банях Афанасий знал, немало попарился на своём веку: и в сибирских бывал, и в банях средней полосы России, и в польских. Залез на полок, прогрелся слегка и крикнул вниз: — Ну-ка, поддай, братец!

И понеслось! Брат махнул ковшом — и с каменки ухнул столбом пар, расползся по парилке, добрался до полка, обхватил жарким широким обручем тело Афанасия, и тот ну себя охаживать веничками из запашистой берёзы с вплетёнными ветками можжевельника. Бажен поддал ещё и, легко вспрыгнув на полок, присоединился к Афанасию и сначала за него принялся, начал отоваривать братца со всех сторон: со спины, боков, ног, затем также с улюлюканьем и ором начал хлестать себя, тело своё не жалея, не милосердствуя. И так, по очереди поддавая парку и утужа тело, парились они до тех пор, пока терпезу хватало, пока кожа не запросила пощады, пока волосы на голове от жары не затрещали. Выскочили из бани — и по снегу босые, голые — до проруби, что была недалеко, за тыном, в водоёме, туда с головой по очереди — бултых, бултых! Вода ледяная, ожоговая, ухватила яички, скукожила, тело пошло пупырышками, побарахтались — и вон из проруби, и опять на полок, и опять ковш за ковшиком на каменку, согрева-

ясь, толкаясь, паря себя всласть, вволюшку и друг дружку охаживая веничками из дуба, крапивы, ясеня. Тут уж кто на что способен, кто как чужое тело обласкать научен: кто — «тихим шёпотом» — пар веничками нагоняя, около спины ими крутя, помахивая, пришлёпывая, а кто — Афанасий — ясное дело! — со всего плеча, с оттягом, с силою, с приговорками: «Баня парит, баня жарит, баня мощи придаёт». Нахлестались, нажарились вдосталь, до разжижения мозгов, вывалились, выкатились из парилки в предбанник обессиленные, расслабленные, хватили кваску по кружечке и развалились блаженно на широких лавках. Тут и сенные девки подоспели, ядрёные, кровь с молоком, соком брызжущие, глаз не оторвать, руками не облапить, принялись, подхихикивая, подначивая, мылить, тереть мочалками, вехотками могучие тела братцев, затем смывать горячей вперемешку с холодной водой. Потом давай мять, тискать, тереть нежно, ласково и в то же время сильно работными пальчиками, прихлопывать ладонями, потом натирать их пахучими мазями, маслами. Старались всюю, с умением, с охотою наяривали так, что звон стоял, не впервой, видать, было им, знали отменно дело своё. Любили, видать, хозяйина, указы его с радостью, наперегонки исполняли. В общем, отделали славно мужиков так, что братья после таких усад, таких «мук», таких «измывательств» на седьмом небе оказались, словно бы пять — не меньше — лет скинули.

— Ну, будя, — промолвил сладко-утомлённым голосом Бажен. — Пойдём, Евдокия, стол накрывать. А ты, Аглафера, поработай, поработай ещё, поколдуй над ранами братца моего любимого, видишь — он весь в рубцах, ссадинах, нахватался в сечах, боях, сражениях, пока в Сибирь ходил, плавал.

Не успела дверь за Баженом закрыться, как Афанасий притянул девку к себе, она ловко, ужом вывернулась.

— Зачем так грубо-то, свет Афанасий Тихонович? Я хоть девка сенная, но не гулящая, ласку люблю, слова нежные, от души сердцем сказанные. Скажите, я хоть нравлюсь вам? — сначала возмущённо, потом с тем же шаловливым озорством пропела. Сама-то Аглафера с самого начала прониклась доверием, уважением к Афанасию, такого сильного, такого

настоящего мужчины у ней никогда не было. Не то что не было, а и не снился никогда. Она только в грёзах, в сладких мечтах грезилась о таком, бывало и жаждала, а тут увидела настоящего, сотканного из упругих мышц, волевого и заполыхала внутренним огнём так, что её, как магнитом, потянуло к Афанасию, пышущему здоровьем и удалью, какой-то неуёмной силой, необузданностью, исхлёстанного студёными ветрами, солёным морем, прожаренного тундровыми походами.

— Прости меня, голубушка. С голодухи я, девковек не видел. А к тебе с любовью настоящей, не обманной. Зря ты невесть что подумала. Как увидел тебя, так и воспылал. Дай хоть поцелую тебя, ненаглядная моя зазнобушка.

— Вот с этого и надо было начинать, а то хватать, лапать — на это и босяки способны. Нет уж, тепереча жди, пока прощу, — отвечала опять же озорно она, а сама губы подставляла.

И слились они в жарком поцелуе и так и не расплелись, обнимаясь, целуясь, милуясь, пока его не крикнули, пока не позвали к столу.

Напаренные, намытые, натёртые свежей, пряно пахнущей пихтой, ароматными маслами, мазями, в облаке пара, сели мужики за большой, метра три в длину, дубовый стол. Хозяйка, жена Бажена, несмотря на войну и ограниченные возможности, не поскупилась, наоборот, как могла, расстаралась, заставила стол различными напитками, ягодными соками, морсами, терпкими винами, зварами, медовухами, на разных травах настоянными. Еды, яств тоже немало набуравила: тут тебе рыбы различных сортов, тут тебе и овощи, фрукты, зелень, грибы, капуста, огурцы солёные, опять же пироги с рыбой, грибами, луком, яйцом, шаньги с творогом, другие кушанья, снадобья.

«Хлебосолен брат мой, — взглянув на стол, подумал Афанасий. — Мошна-то, поди, ополовинена, а не жалеет, вон как расхвастался, будто купец толстопузый, все остатки выгреб, знать. Нашёлся богач, посуда-то вон почти вся деревянная — ни серебра, ни олова. Надо помочь ему, пушной рухляди подкинуть. Так не возьмёт ведь. Горделив не в меру. К Ульяне подъехать придётся — женщина от подарков, подносов не откажется».

— Давайте, братцы, за хозяйку дома выпьем,

— поднялся грузно Афанасий. — За рачительную хозяйку, хлебосольную. Спасибо тебе, Ульяна, уважила, такой знатный стол собрала, что царю не срамно, — поднял высоко над головой он медный кубок.

Все, кто был за столом, последовали его примеру, дружно встали, так же дружно, не торопясь выпили, вытерли усы, бороды полотенцами и потянулись к закуси.

— Будет вам, Афанасий Тихонович, разве это стол, вот до войны столы накрывали так накрывали, — зарделась, стрельнув в Афанасия глазами, наполненными щенячьей тоской и нерастраченной любовью, Ульяна, подняла кубок вдвое поменьше, чем у Афанасия, и за себя вместе со всеми с вызовом выпила.

— Ладно, ладно краснеть-то. Всё славно, всё баско, — успокоил Ульяну, не заметив вызова, Афанасий, не уловив жаркий, наполненный страстью взгляд её.

— Давайте теперь уж и за хозяина выпьем, а то, не дай бог, возьмёт и обидится, — пошутил Афанасий. — За братца, за моего первого помощника. За дело наше, что мы с ним начали. Чтоб получилось оно, чтоб выгорело! — добавил уже серьёзно.

— Эх, хорошо у вас! — после продолжительного молчаливого застолья слово взял опять Афанасий. — Всё чудно, еды обильно, богато, вино на выбор отборное, сладкое, забористое, только вот музыки нет, песен не хватает. Позвала бы ты, Ульяна, девок, своих песенниц, уж больно сладко, душевно поют они.

— Это мы с охотою, это мы сейчас, — подхватила Ульяна, готовая шею сломать для исполнения малейшего желания деверя. И, верно, ждала и готовилась к такой просьбе. — Эй там, в сенях, девоньки, ну-ка выходите, покажите, что можете, на что способны.

На её зов в палату выплыли, как лебедушки, девки в ярких, до полу сарафанах, причёсанные на прямой пробор, с косами русыми толстыми, длинными — до пят. С ними две приживалки — музыкантши — запевалки в кокошниках расписных с маленькими струнными гуслими. Девки расселись на вынесенную за ними длинную лавку и руки на груди величаво сложили, головы в красных уборах-коронах вскинули, стан выгнули, грудями тугими воздух вспарывая.

— Что тебе по сердцу, деверь мой Афанасьюшка? — спросила Ульяна.

— Давай что-нибудь щемящее, чтоб за душу брало, умиротворяло, уж больно жизнь нынче невесёлая, в тяготах, в мучениях. Война проклятая омрачила, испоганила всё.

— Есть у нас такая, мы не пели ещё, девки с улицы подобрали. Песня новая. Ты, поди, не слышал.

— Ну-ка, девки, давайте, покажите братцу, на что способны, спойте задушевненько, пожалостливее, — вмешался в разговор уже крепко набравшийся Бажен. — Я эту песню слышал от них. Трогательная, скажу тебе, братец, песня. Ты должен полюбить её. Ульяна, слышь, запевай сама, у тебя лучше получится. В песне этой царевна Ксения Годунова плачет. То не она, братец мой, плачет, а вся Русь слезами горькими обливается. Слушай и внемли!

Ульяна села среди приживалок, те положили на колени древние, потемневшие от времени гусли, пробежали живо пальчиками по тугим шелковистым струнам — и дом наполнился щемящей музыкой. Ульяна чуть запрокинула голову и завела первую строку, девки подхватили, и полилась завораживающе песня:

*Сплачется Ксения-царевна,
Борисова дочь Годунова:
«Ино Боже Спас милосердный,
За что наше царствіе погибло,
За батюшкино, что ли, согрешение,
За матушкино, что ли, немоление?
Светлы вы наши, высокие хоромы,
Кому вами тепереча владети,
После нашего покойного княжения?»*

*Светлы убраны убрусы,
Берёзы ли вами крутити?
Светлы золотом ширинки,
Леса ли вами задарити?
Светлы яхонты камня,
Не сучьё ли вас задевати?
После славного нашего жития,
После батюшкиного преставления
Светлого князя Бориса Годунова.*

*Едет на Москву расстрига,
Хочет Москву взяти,*

*Меня, царевну, имати,
На Устюжну в монастырь отослати,
Меня, царевну, постричи,
За решётку в ад засадити.
Там мне горе горевати,
В тёмной келье тосковати,
Горьки слёзы лити, прозябати.*

Плакали женщины, плакал горькими слезами служивый казак Заварзин, первый войсковой Афанасия помощник, приглашённый к общему столу, слезами давился и подвыпивший Бажен. Афанасий тоже не удержался, опрокинул махом под конец песни кубок звара. Вспомнил воевода неземную красоту царевны Ксении. Горькую судьбу её — Ксении, заложницы Устюжского монастыря, вспомнил её чёрные длинные, растрёпанные волосы, её дрожащие, с просвечивающей кожей руки, протянутые к нему, её душераздирающий крик не из гортани даже, а из окровавленной души, из раненого сердца:

— Убей меня, Афанасьюшка! — слёзно кричала она. — Не могу больше жить. Смерти прошу, ако милости. Господи, помоги подвинуть на то воеводу, дай силы ему. Возьми мою душу грешную, прими на благодать мне, себе на милость.

— Ты что, сдурела?! — одёрнул её тогда Афанасий.

— Я сдурела? — возмутилась она и забилась в истерику. — Это люди, окружающие меня, сдурели. Посмотри, что вокруг делается. Изверги! Хриstopродавцы! Убей меня, Христом Богом прошу, убей. Не просила бы, руки наложить сама на себя не могу, — молила она, протягивая руки, и ползла к нему на коленках.

— Сгинь, уйди, ведьма! — оттолкнул её от себя Афанасий и выскочил из темницы в полном смятении.

Мог ведь и убить, чего, собственно, и добивалась Ксения. Такое время было тогда — лихое, лютое. Спасибо, рука не поднялась на женщину — молодую девицу-красавицу. Мелькнула мысль помочь ей бежать и самому вместе с ней уйти от Дмитрия, словно в омут с головой броситься, но остановило что-то, какое-то, может, провидение, нет, не любовь к ней, Ксении, а жалость. Не ровня он ей по иерархической лестнице. Сейчас, по прошествии ряда лет, он

судил себя за то, что не оградил её от Дмитрия, что не помог Ксении бежать. Говорили же Афанасию, что Дмитрий изнасиловал её, не верил людям, думал, наговаривают.

— Где она ныне? — спросил сам себя он, ни к кому, собственно, не обращаясь, но из-за переживаний получилось неожиданно громко.

— В монастыре она, здесь, под Москвой, — ответила Ульяна и грустно добавила: — Свои и чужие грехи замаливает.

— Видать, род у них такой — то страдают, грехи замаливают, то свирепствуют, казнят, насилуют. Дед её Малюта Скуратов столько зла сотворил, что до пятого колена не отмоются. Иоанн Грозный и сам убивец, дал воли ему — потешился, поизмывался Малюта над людьми, попил кровушки вдосталь. По Москве погулял с собачьими головами, пожёг, побил бояр, — произнёс осуждающе Бажен. — Его как никого другого долго будут проклинять на Руси, плевать на могилу.

— Ладно, други, хватит о них, о всех вместе взятых, — остановил неприятный разговор Афанасий. — Лучше спойте, девки, ещё что-нибудь этакое весёлое. Развеселите, успокойте душу. Я не забуду, отблагодарю. Очень уж у вас славно выходит.

3. Сборы

Весь месяц Тучков мотался по стольному Вграду, от приказа к приказу, от ямского подворья до торговых рядов, от лабазов к лавкам. Всюду надо было побывать и поспеть: и обоз снарядить, и людей подобрать стоящих, чтоб один к одному — мастеровитые, дельные, боевитые, и об охране обоза, то есть о служивых людях, позаботиться. Обоз на этот раз большой получался, своих-то людей проверенных не хватало. Царица слово сдержала — дала сотню стрельцов, а что сотня, когда шайки разбойников во много больше. И об этой сотне, и о самим набранных тоже надо озаботиться, и вооружить полностью, харчеванием обеспечить, и корма для лошадей с резервом запасти. Деревни-то, что по пути к Архангельску, все разорены — одни головёшки да трубы от печей. Всё погубила, выжгла разбойничья саранча из Польши, Литвы и свои тати,

ушкуйники. Не только сами деревни разорили, но и мужей, жён, детей в полон увели, мужиков обычно на галеры, девок — в гаремы на утеху ханам, баям и прочей тьмутаракани.

В Пушкарском приказе выдали, не скупясь, пороху для пушек, пищалей и иноземных пистолей, не дали только пуль для ружей и ядер для пушек. Сказали: «Нет! Сам ищи!»

— Камни вместо ядер посбирай, — посоветовал один знахарь-подьячий. — Чего глаза вылупил, впервой, что ли? По стволу покатай, если не застрянет, то и шмалай ими. Только пыжуй ствол плотнее — и всё пойдёт.

«Тебе тот пыж в зад вбить!» — хотел отблагодарить за совет подьячего Афанасий, да передумал, уж больно много зависело от этого советчика — распорядителя оружейного склада, скорее, наоборот, у него в ногах валяться. И горячился Афанасий зря, не совсем не прав подьячий, бывало уже такое, заменяли ядра на камни, правда, не так уж хорошо выходило, но всё-таки отбивались ими от осаждающих стены противников. Правду говорят: когда прижмёт — и на раскалённую плиту голым задом сядешь, не на такое пойдёшь. Тем паче при теперешнем осадном положении Москвы Афанасий и сам не отдал бы ядра железные, в первую очередь для обороны столицы необходимые. Зато другое провернуть сумел, смог внушить несговорчивому служащему, что на море без пистолей никуда. Они действительно хороши были в плотном бою с вооружёнными до зубов пиратами, с другими разбойными людьми, а пистолей у подьячего на складе достаточно оказалось. Покряхтел, побурчал казённый муж, но лишних полста штук выдал. Сказал при этом, что шотландцы, которые нашему царю служат, эти пистоли больше мамки родной ценят, за ними только и гоняются, то и дело спрашивают: «Не привёз?» Афанасий любовно повертел в руках оружие, прикинул мушку к глазу и пожалел, что пистоль при себе не было, когда из Архангельска в Москву добирался. Вряд ли ушёл от него тогда бы Лисовский, и бронь не помогла бы.

«Ничего, ещё свидимся, — подумал с нетерпением он. — Захочешь ведь со мной за уничтоженный отряд посчитаться. Вот тогда и заговорят пистоли».

В Ямском приказе подобрал лошадей, заменил слабых, болезненных на сильных, здоровых. Там же овсом про запас разжился. В Земской же приказ не хотел, а пришлось срочно бежать, не ко времени разбираться. Его казачки передрались с людьми князя Оболенского, были наказаны плетями и брошены в холодную. Пришлось пообещать вратарю-охраннику пять соболей, чтоб выпустили драчунов, правда, при этом батогов им ещё добавили, чему Афанасий не перечил, наоборот, способствовал. Потом сам тем, кто улизнуть не успел, добавил, а рука у Афанасия тяжёлая, под неё лучше не попадать. Словом, хватало у воеводы хлопот, забот, но дела эти были в основном приятные, необходимые. Работа спорилась, на месте не стояла, что радовало, на удачу настраивало. Между делом помогал Бажену снимать копии (их называли тогда списки) с важных документов, грамот. Работал вечерами, спал мало, надо было оригиналы тут же (на один день, как правило, давали) возвращать. Брат Бажен однажды расстарался, достал лист исписанной бумаги, протянул Афанасию, заговорщицки сказал:

— Посмотри, не пригодится ли тебе это в дальней стороне? Коль сгодится, то перепиши, я на один день и то еле-еле выпросил.

— Интересно, что тут, — развернул Афанасий свиток из доброкачественной бумаги и с любопытством вчитался в текст.

— Почитай, почитай. Зело угодная бумага, — подлил масла в огонь Бажен.

«Во имя отца и сына и святого духа Утверждённая Грамота, — прочёл вслух Афанасий. — Великого Всероссийского Собора (Церковного и Земского) 7121 год.

Послал Господь свой Святый Дух в сердца всех православных христиан Земли нашей, яко едиными усты вопияху, что бытии Царём и Самодержавцем Тебе Великому Государю Михаилу Фёдоровичу Романову. Целовали все животорный крест и обет дали, что за Великого Государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного, и за их Царские дети, которых им, Государям, впредь Бог даст быть, головы свои и души положить и служить им, Государям нашим, верою и правдою, умом и сердцем. Кто ибо не похощет послушати сего Соборного Уложения, начнёт глаголетти ино, молву в

людях чинити, то таковой, аще от священного чину, аще от бояр царских, аще от воинских или кто от простого люда, в каком чину ни буди, по священным правилам Святого Апостола и Вселенских седми Соборов святых Отцов, то по Соборному Уложению извержен будет и от Церкви Божьей отлучён, и от Святых Христовых тайн приобщения. Будет признан яко раскольник Церкви Божьей и всего православного христианства, яко мятежник и разоритель Закону Божьему, а по Царским Законам месть восприимлет. От всего Священного Собора не будет на нём благословения от ныне и до века. Да будет твёрдо и нерушимо в предыдущие лета, в роды и роды и не преидёт не единая глаголица от написанного в Утверждённой Грамоте...»

Афанасий долго, сидя за столом, читал и перечитывал написанное. По всему выходило: Собор навсегда положил к ногам Романовых Россию. Значит, конец самозванцам, людям осточертели всякого рода смуты, раздрави, войны, хотелось мира на земле. Собор прямо указывал, даже грозил всем смутьянам и отступникам божьим гневом, отречением от Церкви, от тайн приобщения.

— Я не один вечер просидел над этой грамотой, никак в толк не мог взять некоторые главы, — сказал Бажен и открыл заранее приготовленную для разговора Библию. — В ней именно царскую власть подразумевает апостол Павел под «удерживающим» явлением Антихриста. Читаю его слова: «И ныне вы знаете, — пишет он в послании сулуныянам о пришествии Сатаны погибели, — что удерживает его явиться в своё время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды корень, удерживающей её теперь». А ведь это почти дословно о нашем Михаиле Романове пишется.

— Ты прав, Бажен. Я тоже в этом искал смысл и тоже был ошарашен, когда дошёл до него. Выходит, властью божьей через собор Романовы будут сдерживать приход Антихриста.

— Истинно глаголешь, брат.

— А если Романовы не смогут власть удержать? — осторожно, с опаской спросил Афанасий.

— Тогда опять конец, придёт ко власти князь Тьмы. Так сказано в Библии, — удручённо отве-

тил Бажен. — На всё воля божья. Будем молиться о спасении душ людских, царя, своих душ и детей наших. Нам ли, православным, бояться конца света. Помнишь пояснения блаженного праведника Феофилакта?

— Нет, напомни, что за пояснения.

— Он предвещает: когда только будет взято Римское государство, тогда только придёт Антихрист. И только когда оно будет разрушено до основания, тогда воцарится безначалие и Антихрист будет стараться похоронить человеческую и божественную власть. Вспомни, наш Государь Иоанн Васильевич, надевая шапку Мономаха и садясь на престол, назвал Московию Третьим Римом, второй Византией, значит, наше разрушение имел праведник в виду.

— Подобные чаяния Антихриста подтверждает и еврейский талмуд «...В опустошении Рима — наша погибель», — согласился Афанасий. — В нём только не объясняется, какого Рима. Если третьего... Тогда точно нам нести крест, на нас пал божественный выбор.

— И нести до конца.

— Аминь на том.

— Скажи, когда ты успел прочесть иудейские книги? — удивился после разбора пояснений Бажен. — Зачем тебе, православному, книги еретиков? Опасно же. Доиграешься.

— Когда-то давно ещё был у меня товарищ из иноземцев, звали его Томас Лесли. Много земель прошёл он, многое повидал, искал во всех религиях, верах истину, нигде не нашёл, кроме православия. Он говорил, что Рим погиб ещё тогда, когда папская власть в нём осела. В Пантеоне римских богов было одно очень скромное имя, Ватикан, он отвечал за первый крик младенца. Теперь это имя присвоило государство, которым правит Папа Римский. Ещё Блаженный Августин говорил, что античные боги были в своё время людьми, прославившимися своими деяниями. «Будьте как боги», — древний соблазн искушителя. Он прельщал человека славой, властью, силой, деяниями. Демон же в переводе с греческого не что иное, как знание, вся суть — какое знание. Демоны со своими знаниями Тьмы и разврата к нам кинулись, в православие.

Пока мы в вере сильны, страшен ли нам Князь Тьмы, я думаю, вряд ли, как бы того ни хотелось иезуитам. Они спят и видят Москву уделом Сата-

ны. Я их замыслы хорошо знаю, сам по темноте своей когда-то приложил руку к этому, хотел, чтоб католики стали строить ватиканские капипа на русской православной земле. Нет мне прощения за это, — скрежетнул зубами от злости к самому себе Афанасий.

— Остынь, брат. Успокойся, хватит мучить себя горькими мыслями. Сколько воды утекло. Ты давно прозрел.

— Ах, Бажен, Бажен, сердце-то всё равно кро-воточит. Как вспомню, что сотворил — Дмитрия привёл на Москву. Слыхано ли!..

— Он бы и без тебя пришёл. О чём ты?! Ладно, что было, то былём поросло, назад не вернёшь. Лучше сотвори молитву и ложись спать. Утро вечера мудренее.

К концу февраля, как и намечали, санный поезд, загруженный под завязку товаром, тронулся в Архангельск. Пошли от торговых рядов Красной площади, дальше — по Сретенке, через крепостные ворота, за ними — на накатанный зимник и вперёд, на рысах — только дрогнула дорога. Впереди гарцевали казаки, горяча лошадей перед встречными, особенно перед молодками, разгоняя обозы, сани диким свистом, щёлканьем нагаек, звериным храпом уросливых коней. Встречные люди, обозы либо шарахались на обочину, в сугробы, увёртываясь от коней, из-под нагаек, либо задиристо не уступали дорогу. Их тут же окружали казаки, заталкивали лошадьми в снег, загоняли со свистом, смехом, улюлюканьем по самые ноздри.

Впереди ехал лихой десятник Заварзин со стягом и полотнищем Николая Угодника, чтобы все видели, что идёт государев поезд под знаменем приближенного к царю воеводы архангельского. Обоз действительно большущий вышел, таких Афанасий не отправлял ещё. Почти двести гружёных саней, это только своих, кроме того, ещё обозы московских и иных купцов, напросившихся в попутчики, и саней простых людей — крестьян из вологодских, ярославских, архангельских земель. Вестимо, под охраной путь гораздо надёжней и безопасней. Тучков брал их на свой страх и риск, знал, что в случае нападения от неопытных, не нюхавших лиха людишек одна маета: тут и паника, тут и сумятица, бегство, словом, помощь врагу, поражению. С другой стороны, чем больше торговых людей идёт в Сибирь,

тем Сибири лучше, тем больше богатого народа на Руси, а в итоге — богаче государство. И город Архангельск, до которого шёл санный поезд, тоже имел немалую выгоду, поскольку и ему везли часть товаров и продуктов. Как же иначе, это же его город, Афанасия, он же, а не кто иной, был в нём воеводою. Ему развивать, ему оборонять его.

Дорога не ближняя — не менее полторы тысячи вёрст, с днями до обидного короткими, метельными и главное — небезопасными. Преодолеть её без потерь — дело нешуточное, дней сорок, а то и более даже при хорошем раскладе потребуется. За сорок дней всё может произойти, всё надо постараться предусмотреть. Два с лишним дня Афанасий сидел, на бумаге подсчитывал, записывал: это взять, то не забыть, это добрать, это докупить, то прихватить. Основное: до Ярославля добраться — леса сплошь, то и дело засаду жди. Идёшь с предосторожностями, с оглядкой, разведку впереди гонишь, потому долго: дней пятнадцать — двадцать уйдёт. Дальше легче будет, пойдут более-менее открытые места — спрятаться, засаду устроить татам непросто. К Вологде — не только открытые, но и пустынные места пойдут, деревень, сёл наперечёт, переночевать негде, при хорошей луне можно идти и ночью, а без луны можно и при факелах, поэтому путь преодолевается быстро, всего за четыре-пять дней. От Вологды до бухты Святого Николая дней десяток уйдёт, там уж совсем никого — ни селений, ни встречных-поперечных, дикий, неосвоенный край. От бухты до Архангельска — совсем недалеко, пара-тройка дней и на месте.

Сам Афанасий на этот раз не пошёл с обозом, вынужденно задержался, за суматохой дел забыл про обещанное Ульяне, жене Бажена, и её девкам-певицам, свою возлюбленную не забыть. Слово дал — надо выполнять, без решения одного никак нельзя. Оставив с собою с десяток казаков, Корнею же повелел проводить обоз по всей форме и красе за окраины Москвы, а вечером вернуться к брату Бажену. Сам с Игнашкой поехал на Красную площадь, в торговые ряды, присмотреть каких-либо безделиц, подарков для женского пола, а заодно поглядеть, чем торгует Москва. Пока ходил, толкался, приценивался, на него глаз положил муж один чернявый, нос горбатый, явно не славянского происхождения. Выделялся сей людина своей курчавой чёрной

бородой и буйным до плеч волосом, пробитым седыми прядями. Словом, был весьма приметной личностью. Афанасий сначала подумал: «Может, иудей это, живёт здесь, в Москве. Что тут делает, если торговлю не ведёт. Сцапают ещё». Дело в том, что иудеям жить в то время постоянно в Москве запрещалось. Хотя к купцам иудейским, приезжающим в Москву торговать, власти относились снисходительно. «Торгуй, но если кто посягнёт на тебя, на твоё добро, то сам себя и защищай», — милостиво разрешали они. Разборками, связанными с грабежами еврейского имущества, караванами земские приказы не занимались. Иначе говоря: «Рискуй, жид пархатый, а нас не тревожь, не стоишь ты того, чтоб время на защиту тебя, твоего барахла тратили». Выходило, что жида мог обидеть каждый встречный-поперечный.

Незнакомец несколько раз как бы невзначай появлялся перед Афанасием, а когда тот загляделся на красочный моток ниток для золотшвейных дел, на парчу, то стал рядом и посоветовал присмотреться к парче серебристого цвета, которая продаётся недалеко, всего лишь во втором ряду. Афанасий зорко вцепился оком в его лукавое лицо, хмыкнул, но пошёл за евреем. Материя во втором ряду действительно оказалась лучше осмотренных и, на удивление, дешевле. Афанасий поднял отрез, подкинул, пощупал ткань, помял, прочувствовав его увесистость, и бросил на руки следовавшему за ним по пятам Игнашке.

— Ещё чего желает боярин? У нас всего полно, всё самое лучшее, — подсунулся с другого бока жид.

Тучков уже более пристально смерил его оценивающим взглядом, рассмотрел ярко-золотистый бухарский халат под богатой из горностая шубой, корсачью шапку с охвостьем, спадающим на левое плечо. «Не столько иудей, сколько бессермен с земель полуденных, — подумал воевода. — Только они, бессермены — басурманы, так чисто говорят по-русски».

— У тебя других дел нет, как возле меня виться? — вслух ругнулся он, строго глядя в юркие глаза бессермена.

— Обижаете, боярин. У купца дел всегда невпороворот, — хихикнул тот и тут же прикрыл ладошкой рот, понял, видать, что лишку хватил, и

продолжил уже серьёзным тоном. — Вижу, боярину вещи хорошие, чтоб на загляденье были, требуются, может, прикидываю, мне удача улыбнётся, мой товар боярин выберет.

— Слушай, как тебя, бессермен ты иудейский или чистый иудей, с чего ты взял, что я боярин? — прервал его красноречие Тучков. Помедлил, подумал, есть ли смысл раскрывать себя, решил, что и без того, поди, знают, ушлый же народец иудеи эти, и отчеканил: — Я воевода. Ясно тебе?! А ты кто на самом деле, должно, всё-таки бессермен, уж очень кручён, так и выёшься, так и наби-ваешься. Чего хочешь, говори! Ну!

— Хочу, чтоб товар посмотрели, оценили.

— Что ж, давай глянем на твой товар, только смотри, чтоб без обмана и чтоб лицом в грязь не ударил, а то живо башку снесу.

— У меня товар ходовой, не замухрыжный, у меня его полно. У меня всё, что захочешь, что душе угодно, — запел зазывно, громко торговец. — Есть товары бухарские, есть шелка китайские, есть персидские халаты, есть кыргызский войлок, плётки есть, к ним рукоятки из карагача, нагайки есть, нагайки с вплетёнными свинцовыми пулями, есть арканы каракалпацкие, есть волосняные, жемчуга есть, золотые украшения и прочая, прочая мишура и дребедень.

— Так, понятно, кончай на уши дуть, где всё это — не вижу!

— Не здесь, в жемчужном ряду, восьмом с краю. Идём. Сюда, сюда, воевода, за мной, — нырнул в проход, помахивая руками, купец, указывая путь. Шустро, пронируливо засеменил впереди. Место для торговли бессермен действительно выбрал с умом, знал в этом толк. От суетной толпы его отсекал поперечный ряд, зато те покупатели, которые проходили к нему, уже были отрезаны и хотели не хотели, а должны были настраивать себя на серьёзный просмотр товара, а там и покупки, а не для того, чтобы просто поглазеть, время убить и свалить. Самым торгом лихо заправляла пара шустрых молодцов-лавочников. Сам же купец продолжал, обрабатывая Тучкова, лить воду на мельницу, разливаясь перед воеводой соловьём:

— Славный ухватили мы неонеч жемчуг, господин воевода. Ох и горяч, ох и искрист, ох и переливчат! Кафимский, турмужеский, из Персии, из Отомании. Жёнки, девки без ума от него. Как

складен и пригож он для расписной вышивки, как удобен в деле для бус, ожерелий и прочих безделиц. Ничуть не уступит российскому, что с Севера, с Ильмень-озера или что с града Киева. Есть и другой, что с Кеми, тоже хорош, тоже игрист, тоже переливчат, но не продаётся, поедет со мной в Бухару. Там толк в жемчугах знают, с руками оторвут, но для тебя, воевода, могу уступку сделать, продать, коль захочешь.

— Больно ты заливать мастак, как я посмотрю, у тебя у одного, что ли, такой жемчуг?! У нас в Архангельске, на Варзуге-речке не хуже твоего есть, — неожиданно для себя выдал потаённое место приобретения жемчуга оптом Афанасий, раззадорил проклятый бессермен его, чёрт за язык и дёрнул.

— Да неуж?! — округлил глаза проныра купец. — Не слыхал я про Варзугу. Много там жемчуга, что за места?

— Как же так, эх ты, а ещё бессермен. Известные же промыслы. Простые крестьяне и то скребут там жемчуг кошёлками и продают монахам, а те поставляют в женские монастыри монашкам для рукоделия, а также иконописцам в ризы, в иконы, — растолковал ему Афанасий. — Жемчуг с Варгузы хорош своей чистотой, нисколько ни твоему, ни морскому, что с Прибалтики, не уступит.

— Зато в тёплых морях, откуда мой, жемчужницы растут быстрее и размеров достигают чуть ли не с птичье яйцо.

— Что верно, то верно, ты пояснять поясняй, но и товар показывай. Мне базарить тут особо некогда. Пожалуй, возьму у тебя вот этих кафимских и турмужеских. Смотри мне, если уличу в подмене или изъян какой обнаружу, то тебе, бессерменская твоя рожа, плетей не миновать, твоими же кыргызскими камчами отвозят так, что и дорогу сюда забудешь, — повторно для острастки пригрозил Тучков и улыбнулся так, что у торговца мурашки по спине побежали.

— Что ты, что ты, господин воевода, — замалхал тот руками. — Никак не можно. Я не дурак, чтоб крупных покупателей терять. Вы же не последний раз ко мне... И я не первый год в деле. В Москве хочу по-настоящему сесть, дело своё ставить.

— Ну-ну, знаю я вас, не раз обманут за чрезмерное доверие. Ладно, проехали. Пошли дальше,

покажи-ка мне войлок и арканы. Да-да, и волосяные, и пеньковые. Нет, волосяные, пожалуй, лучше, их и возьму. Как сам-то мнишь?

— Известное дело — волос дольше служит.

— Теперь вот что, ковры покажи, что потолще, поворсистей и с ценой некусачей. Их не в теремах будем стелить, а в юртах, чумах, беру для подарков и на обмен. И давай пошевеливайся, тороплюсь зараз. Давай побрякушки вот эти женские, серьги, бусы, бижутерию, да не по одной-две давай, а кучками.

Товару набралось так много, что у купца пришлось ещё сани просить. В своих уже места не было, как плотно ни укладывали, ни вминали — всё равно не влезало. Под конец бессермен проговорился, зачем перед воеводой стелился, бегал по пятам зачем.

— Ты воевода, — сказал он, — человек с Севера, с Сибири, знаю я, знаю, не округляй глаза. Так не забудь мой ряд, когда что-либо ценное, выгодное там объявится, кликни, дай знать через посыльных. Я отблагодарю, в долгу не останусь. Сибирь, я знаю, земля богатая.

— Не забуду. Только не скоро я там буду. В Москве дел ещё много, да и путь длинный. В следующем году, скорей всего.

— Ничего, я подожду, мы, евреи, терпеливые, своего часа не упустим, дождёмся. Может, дело какое торговое подвернётся, известите попутной весточкой, господин воевода. Война к концу идёт, торговле большой ход, значит, будет, расцвет маячит. Я хочу шелками вплотную заняться. Шёлк — товар лёгкий, при перевозке много места не занимает, потому прибыльный. Я думаю его поставлять из Азии в Европу, в Сибирь, в частности, на твой Север по великим сибирским рекам — Иртышу, Оби вплоть до Обдорска.

— Вон куда махнул, — усмехнувшись, пробасил Афанасий, — проныра и есть проныра. Сложный это путь, но стоит того, чтобы попробовать. С Обдорска и до Мангазеи, куда я северными морями хожу, недалеко. Можно идти и по воде по Обской и Тазовской губе, а зимой нартный путь есть — оленями. Я этот путь из Азии в Сибирь и на наш Север, о котором ты заикнулся, сам хотел испробовать, да мне бы своей морской из Москвы до Мангазеи успеть наладить. А шёлк — что говорить — товар ценный. Не зря же в старину шёлковые пути были. Ну, что ещё у тебя? Вижу —

мнёшься, не всё сказал, а то мне пора. Будешь надобен — отыщу.

— Погодь, воевода, осади. Есть ещё одно, очень для тебя важное. Надо его по секрету молвить. Зайди сюда, подале от глаз людских, — приоткрыл он полог — вход внутрь лавки.

— Чего надумал ещё, вот бессермен?! — недовольно проворчал Афанасий и, склонившись, осторожно сделал шаг в темноту. — Чтoб тебя черти драли! Хоть глаз выколи. Чего тебе ещё?

— Не хотел сразу-то при людях говорить, воевода. Зачем мне лишние заботы, но вижу, человек ты хороший, людей ценишь, поэтому решил как на духу. В общем, человек за тобой ходит, чую, неладное затевает.

— Кто, где? — резко, всматриваясь по сторонам, крутанул головой Афанасий. — Почему сам не видел? — ещё раз встрепенулся он и пытливо уставился в лицо еврея, слабо освещённое свечой.

— Я не приглядывался, но, видать, ловок и опытен соглядатай тот, на глаза не лезет. Вот и сейчас, как я его только засёк, сразу улил.

— Какой он, что за морда? Запомнил?

— Издали-то не разглядишь, видно, что высокий, не простого сословия, в шапке монашеской, волосы длинные, в зипуне.

— И всё?

— Всё. Да по масти он светлый, скорее ваш — северный.

— Евон что. Не ожидал, хотя почему не ожидал, вполне может стать. Ладно, спасибо тебе. Звать-то тебя как?

— Иосиф, — улыбнувшись, сверкнул черными глазами еврей.

— Учтём, зачтём тебе, Иосиф, — закончил с намёком Афанасий. Сел в сани и помчал к дому брата Бажена.

Вечером перед расставанием Бажен опять затащил его в баню. Афанасий согласился — баню-то он, как настоящий русский, любил крепко, истово, перед дальней дорогой тем более надо было помыться, попариться — когда ещё представится, но больше-то для того шёл в неё, чтобы опять увидеть ту ладную девицу — красавицу Аглаферу свою. Уж больно она по нраву пришлась ему: сочна, баска, смела, озорна. Перед дальней разлукой больше всего на свете и хотелось обнять её, прижать к серд-

цу. Уходил-то не на один день — на полгода, дорога опасная, могло всякое случиться, мог и вообще не вернуться — лечь на поле брани с пиратами, с аборигенами либо просто от стрелы от татя коварного. Хотелось, жаждалось встретить её, обласкать, запомнить надолго. Прижаться к разгорячённой плоти её, к сердцу девичьему и хотя бы на минуты забыться, забыть обо всём, об будущих ратных стычках, тревогах, о массе дел, о бесчисленных хлопотах, навалившихся в последнее время, не отпускаящих ни на минуту.

Бажен тоже хорош, сам, что греха таить, подпустил девку к брату, смекал — для баловства, для снятия нагрузки, для отдыха, не думал, не гадал, что братец вдруг прикипит к ней, влюбится в бабу сенную. Но чем молодец — так не стал, однако, осуждать его, наоборот, потрафил, назначил готовить баню и оставил их после парной одних.

Не успел Бажен выйти, Афанасий сграбастал своими железными руками девицу и начал её пылко, страстно целовать, ласкать, жадно, запоминая в глаза смотреть, ответное расположение разглядывать. Она не ожидала такой страсти, такой жадности, готовилась-то к услугам банным: парить, мылить, растирать, кости, мышцы разминать. Думала, поигрался барин и забыл, такое на каждом шагу же происходило, чего уж тут, хотя и подспудно надеялась на чувства глубокие с его стороны, но об этом боялась даже и загадывать. Сама-то сразу почти его полюбила, в такого мощного, сильного, настоящего русского богатыря и не мудрено было втюриться, поэтому не сопротивлялась, наоборот, прикинула к нему всем своим знойным телом, вжалась в него, запрокинула голову, подставила лицо, губы и со всей страстью и негой отдалась ему.

— Что, Аглаферушка, лебёдушка ты моя, солнышко ясное, будешь ждать меня? Ведь уезжаю я. И надолго.

— О чём ты, свет Афанасьёшка, ведь я не жена твоя. Ведь у тебя есть она в граде Архангельске.

— Откуда знаешь? — встрепенулся он.

— Как откуда? Я же в доме брата твоего служу. Тут все всё про тебя знают. Как ты за море ходишь, какие испытания в пути терпишь.

— Евон как, надо же, не думал, что и дворян про меня всё знает.

— Как не знать про богатыря кормчего, через год на кочах ходящего в земли сибирские дальние, покоряющего их, привозящего оттуда добро возами. Молва людская о храбрых людях, славой покрытых, быстро разносится.

— Я не про то, я про жену спрашиваю. Хотя понятно, раз меня назубок знаете, то и про жену мою всё вынюхали. Да и не жена она мне вовсе, сожительница. Я с ней под венец не собираюсь. И из головы выброшу, если ты моей пообещаешь стать. Будешь ждать меня? Уж больно прикипел я к тебе, своей лебедушке.

— Я-то и рада бы, люб ты мне, свет Афанасьюшка. Но разве это от нас зависит? Захочет Бажен Тихонович или жена его — и отдадут меня за другого, я же подневольная.

— Не дам. Я скажу ему. Не тронут, коль в согласии с братом жить хотят.

— Если так, то твоей буду до скончания веку, любимый мой, Афанасьюшка. Верь, — припала она к нему и крепко обняла.

— Коль так, то добро. На этом и поладим. Вот тебе подарок, чтоб лучше помнила, — проговорил он и повесил ей на шею самое красивое, на его взгляд, ожерелье из кафимского янтаря.

После такой баньки, после таких ласк, объятий, после запредельных, у самого горла чувств, наслаждений уставший и опустошённый, но и одухотворённый одновременно Афанасий едва дотащился до дома. Там уже, прямо у порога, с низким поклоном его ждала жена Бажена Ульяна, опять одарившая Афанасия цепким женским взглядом, и пригласила за стол. Длинный стол заставила всевозможными яствами, кроме них и во главе, прямо посередине, дымился паром и одурманивающе пах недавно убитый и только на вертеле приготовленный кабан средних размеров.

— Ну, хозяйева, ну, угодили! — не смог удержать благодарности и первым с кубком вина поднялся Афанасий. — Ну, наготовили! Спасибо вам, дорогие мои, за хлеб, соль, за вино, за баньку — за всё-всё! Давайте выпьем за дорогу мою дальнюю, и пускай она стелется скатертью.

Все, кто присутствовал на проводах, поднялись, выпили, запрокинув головы, по полному

кубку, и вслед за Афанасием откинули кубки на стол. И пошло, покатилося веселье, пошли тосты, шутки, разговоры, подначки. Афанасий пил мало, знал, что завтра догонять обоз, что надо для этого иметь светлую голову. Он и вообще-то не увлекался выпивкой — так, по случаю мог принять, и то в меру, зато Заварзин, вернувшийся с проводов обоза, озябший, не смог отделаться от хлебосольства Бажена, от предложений попробовать того-этого вина, звара, хмельного кваса, пива, медовухи. И уже через каких-то часа два они сидели с ним, обнявшись, хмельно уверяя друг друга в уважении, любви, нескладно запевая и тут же обрывая песни. Бажен махал руками, чуть не крича, объяснял Заварзину пути-дороги по стольному граду и из Москвы.

— Через Стромынку, — говорил он с нажимом, как будто Заварзин Корней его оспаривал, — дорога идёт на Суздаль, с Тверской — на Тверь, с Твери — на Великий Новгород. Сретенская улица выходит прямо на Ярославский тракт, а уж с Рогожской слободы тоже трактом — на Казань и Нижний Новгород.

— А я что говорю? — смотрел на него лукаво и хмельно Корней. — Я о том же. Разве нет? Чего ты шумишь, гудишь? В Серпухов из... Э-э, как её, улицу-то?..

— Чего о том же. Ничего не знаешь, балда. Слушай и запоминай. Не слышишь? Рог тебе в ухо, чтоб мышей ловить начал, не переспрашивал, — закипел от досады Бажен. — В Серпухов — через Коломенское надо. Дорога прямо на полудень, далее — на Тулу. А через Арбат и Дорогомилово — только на Можайскую дорогу, далее по ней — на Смоленск. Я-то, брат, все дороги изъездил, исходил, а ты — Серпухов, Серпухов, только и знаешь один Серпухов.

Афанасий, глядя на двух побагровевших спорщиков, засмеялся и, чтоб унять их, а то не дай бог дело до драки дойдёт, кликнул Ульяну и попросил:

— Ульяна, сделай милость, позови своих сенных девок, пускай споют, отвлекут мужиков, а то эти петухи скоро раздерутся, — кивнул он в сторону брата и своего десятского. — Их же больше ничем не возьмёшь, неужели водой разливать?!

— Этих ладно, а казаки, что с Заварзиным пришли?.. — замаялась Ульяна. — Их куда?

— Как куда? — не понял Афанасий.

— Их бы подальше отсюда, а то боюсь, после этакого девки казачат притащат в подолох...

— Ну и что, чего ты, Ульяна, пусть рожают. Народу русского немерено на последних расприях, смутах полегло. Тыщи. Без приплода, без прироста никак, оскудеет земля русская. Это, если хошь, дело государственной важности, — спрятал улыбку в усы Афанасий.

— Мягко стелешь, деверь мой Афанасьюшка, своим служивым потакаешь, да не пришлось бы нам жёстко спать. Кто потом прибудных казачат будет подымать, а? Ты?

— Ладно тебе, в первой раз, что ли. Вырастут. Всем миром вытянем, — положил тяжёлую руку ей на голову Афанасий. — Ты кликни девок, а уж я прослежу, чтоб не зарились.

— Тогда — конечно. Что будем петь на этот раз, Афанасьюшка? — спросила Ульяна, когда девицы выплыли из соседней горенки и расселись по лавкам.

— Давай опять что-нибудь не шибко весёлое, лучше томительное, грустное, чтоб за сердце брало. Что ни говори, жаль мне с вами со всеми расставаться, надолго же ухожу.

— Ну-ка, давайте, девки, споём деверю моему «Подорожную». Запевай, Варька, — приказала Ульяна, и полилась песня о путях-дорогах, странствиях, о переживаниях, об опасностях, о тоске по родине.

— Спасибо, девки, — поднялся Афанасий из-за стола, после того как не только песня закончилась, но и отголоски её растаяли. — Ну, уважили. Славно-то как! Спели — душу полечили. А теперь налетай, буду всех одаривать. В первую очередь тебя, Ульяна, как хозяйку, как певицу, мастерицу, закопёрщицу, — вытащил он значительную часть жемчуга, что у прошельги купца Иосифа приобрёл, смахнул посуду со стола и рассыпал его на стол. — Забирай, Ульяна, весь твой.

— Ой, куда столько! — воскликнула обрадованная неслыханному богатству Ульяна. — Много, очень много, уж больно щедр ты, Афанасьюшка.

— Забирай, забирай.

— Ну, если девок вот ещё одарю... Тогда только...

— Забирай, забирай, твой он, куда хошь, туда и девай: хошь — девкам, хошь — сама носи. Впрочем, девок я тоже не забыл. Да и как забыть та-

ких певиц-соловух-канареечек — грех великий, — высыпал он на другой край стола бусы, серьги, прочие женские побрякушки. — Смелее, мастерицы-девицы, выбирайте кому что нравится. А нам пора и честь знать, на покой надо. Завтра рано в поход. Так, казаки?! — взглянул он строго на захмелевших изрядно казаков. Казаки на удивление смирно поднялись из-за стола, знали — у атамана (про себя они Афанасия иначе и не называли) рука тяжёлая, и гуськом потянулись к выходу, в отведённый им покой.

Утром поднялись чуть свет все вместе, взяли лишь те двое саней, что выторговал Афанасий у бессермена, запрягли лошадей и тронулись почти налегке догонять обоз. На тридцатой версте, когда уже Афанасий догнал и ехал во главе обоза, его настигла благая весть: польский король Владислав согласился пойти на перемирие и готовился увести войска из московских пределов. Казаки, стрельцы, обозники, прочая челядь, обсуждая меж собой перемирие, не только истово крестились и облегченно вздыхали, но и умильно шептали: «Наконец-то дождались, слава Тебе, Господи». Всем надоела проклятая, разорительная война, но и, как уж на Руси водится, тут же под радость шутики понеслись злословия: «Тошная, знать, казна, как и кишка у шляхтичей, полезли — не замерыли. Не по зубам им Москва — объелись», «Сам-то круль тоже хорош — спесив, жаден, а запалу ни на грош», «Запал, что запал — намок запал, коли в штаны наклал», «При чём здесь запал, когда с характером завал».

Тучков, слушая их, блаженствовал, весть, что ни говори, радостная и пришла ко времени, к месту. Он глядел, прищурясь, на мартовское солнце, жмурился, приговаривал:

— Пусть поговорят, пусть позлословят, попотешничают. У меня теперь зато гора с плеч, насколько забот меньше, отпала нужда быть постоянно начеку, ждать засады либо нападения от поляков. Можно без боязни оставить обоз на Заварзина или на стрелецкого сотника. Самому же пора навестить отчий дом, повидать отца, мать, сестёр, давно не виделись. Хорошо, дом-то недалеко находится, всего несколько вёрст от нашего пути, — и, распорядившись соответственно, взял с собой в сопровождение парочку казаков, направил коней к родному дому.

Часть вторая.
КРАЙ ЗЕМЛИ — ЯМАЛ
 Год 7126 — начало исчисления
 от сотворения мира

1. Начало лета (ендя) — месяц комара

Сразу, как только отчалила экспедиция под началом воеводы Афанасия Тучкова, поначалу обозами из Архангельска, потом на кочах из Холмогор, взяли курс, чтоб выиграть время, не по океанскому побережью, с волоком по Канинскому полуострову, не так, как обычно ходили все торговые суда, а пошли морем. И удачно обошли полуостров, не встретив льдов. От Канина Носа опять же шли прямо, не жались к берегу, оставив южнее не успевшие оттаять острова Колгуев и Долгий.

Около пролива Югорский шар из-за шторма вынуждены были задержаться. Высадились на материк, ожидая окончания шторма, разыгравшегося не на шутку, и на целую неделю застряли. Сидение без дела на берегу, как и всегда, оказалось нудным (ждать и дожидаться хуже всего), тошным, а главное — затратным в части бесполезного уничтожения съестных припасов. Совсем впустую, правда, не сидели. Находили чем заняться: чинили паруса, одежду, плели канаты, чистили оружие. Всё это от безделья — разве для того шли в поход. Хорошо еще, что нашли старое обжитое зимовье морских охотников, подлатали его мал-мал, обустроили и жили в тепле, в нормальных, конечно, относительно условиях. Афанасий, уже к тому времени не иначе как старый морской волк, знал, как и чем разгонять тоску, как не дать заболеть людям — не расстроить психику, каждому давал дневное задание — конкретно то-то и то-то, а в конце дня принимал работу.

Дальше шли благополучно, Афанасий не стал, как обычно, заходить в Пустозёрские острога брать товар и попутчиков, поскольку шёл в Мангазею не торговать, а прокладывать из Холмогор в Сибирь постоянный водный (без волоков, без обхода острова Белый) ход. В Нарзямские (Карские) ворота их опять же не пускали торосистые льды. Они прошли по самой их кромке, всё время опасаясь быть зажа-

тыми и раздавленными. И Вайгач огибали из-за льдов южнее, а могли бы и там спрямить.

Льды, льды, повсюду мешали льды! Ах, кабы их не было!.. Ещё в то время зародилась мысль у Афанасия о ледоколе, но осуществить её он, естественно, не мог, лишь только через триста с гаком лет появятся ледоколы.

В начале июня, как и надеялся Афанасий, он и его сотоварищи дошли до острова Белый. Надежда мореходов на то, что пролив между островом и материком чистый, не оправдалась. Пролит и отчасти сам остров оказались заторочены толстыми льдами, принесёнными весенними паводками сибирских рек. Океанские штормы, волны Нарзямского (Карского) и течение Мангазейского (Обская губа) морей тоже нагнали в пролив горы торосистых льдов и наглухо закрыли проход на восток. Остров Белый по поверью аборигенов считался вотчиной ненецкого Духа — Бога Сэру Ирику. Видимо, Сэру Ирику прогневался и не хотел пускать в свои владения людей другой веры и всячески препятствовал мореходам.

Чёрно-белёная поверхность льдов не отражала свет, не искрилась под лучами полярного солнца, наоборот, жадно вбирала в себя тепло, обрекая льды, в конце концов, на исчезновение. Льдины на глазах обильно слезились, истончаясь, лопались, а окунаясь в воду, ещё более худели, становясь похожими на драных, облезлых котлов. Однако до полного их исчезновения, чего так жаждали мореходы, было ещё далеко. Ждать их конца времени не имелось, надо было спешить, но как, каким путём — на всём пространстве ледяные хребты.

— Не пройдем! — сказал как отрезал старший кормщик Василий Севрюк, стоявший рядом с хмурившимся воеводой. — Самоедский бог не пускает. Вели поворачивать кочи вспять.

Тучков промолчал, сделал вид, что не расслышал горьких слов. Да и не знал, что ответить. Он, пристально всматриваясь в рваные края ледовой преграды, напряжённо думал, всё-таки, видимо, надеялся найти в заламах чистую воду.

— Говоришь, не пройдем, — наконец протянул он, поглядел в упор на кормщика. — Да-а, Ямал не Канин, а Нарзямское море не Московское (Баренцево), оно много холоднее. Не повезло нам, не поймали удачу за хвост. Два года подряд

ведь проходили, шёл фарт, везло. Что же, не всё коту масленица. Жаль, обидно до слёз, через неделю бы пришли на место, в устье Зелёной.

Василий смахнул с ресниц слезу, выступившую от встречного колючего ветра и долгой бессонницы. Искоса взглянул на воеводу, ожидая, что тот дальше скажет. Тянуть некуда, пора и приказ на разворот давать. Не послушал сразу кормщика, а ведь тот советовал идти к полуострову другим путём, понадеялся на пустое — на удачу. Упрямец!

Тучков продолжал молчать, может, вспоминал свои же попытки в другое время года, почти летом, когда обходил Белый севернее, по Нарзямскому морю. Если в проливе ледяные торосы, то в открытом море льды, возможно, ещё круче — во весь рост и без конца и края. Наконец собрался и, как обычно, принимая трудное решение, набылчился, резко повернувшись к кормщику, приказал:

— Поворачиваем, идём обратно. Попробуем обойти Белый севернее, как считаешь, кормщик, обойдём?

— Можно попробовать, — ответил, немало сомневаясь, кормщик. — Этот путь тоже, может, закрыт.

— Что верно, то верно. Новгородцы и поморы не единожды пытались обойти остров в это время, но чистой воды не всегда находили. Они меня об этом предупреждали, а это настоящие моряки, они языком чесать зря не будут. Года три тому я тоже здесь не прошёл, пытался дождаться, когда вода очистится, но только время потерял. Так что не медли, разворачивай и — вперёд.

Кочи развернулись и пошли назад, в обход Белого. Афанасий опёрся об оструганный борт корабля, чуть подался вперёд, пристально вглядываясь вдаль. Но на всём пути, сколько хватало глаз, стоял лёд. Путь обхода тоже оказался закрыт.

— Что же, ничего не остаётся, как идти к древнему волоку. Придётся кочи перетаскивать, — ругнулся от досады Афанасий.

— Волок так волок — ни много ни мало четыре версты будет, — прикинул Василий, осматриваясь по сторонам. — Наломает кости, набьёт спины, повыворачиваем ноги. Одни пойдём или англичанина Джеймса Коллинза подождём? Он обещал подойти. Или без него? Прой-

дём реку, потом озёра. А уж в озере остановимся и дождёмся Коллинза. Или по-другому как?

— Джеймс неизвестно когда будет. Чего ждать? Давай заходи в реку, — настойчиво торопил Афанасий. — Вода в ней, должно, высокая, до середины августа, как мне говорили, по ней ходят. Должны пройти, заодно проверим, как там наши Тимошка Глазов с Фёдором Устюговым, что заготовили, где запасы оставили? И начнём без спешки перетаскивать, груза у нас — дай бог, не хочу гонки устраивать, людей загонять. С напрягом, но не спеша, — быстрее осилим. Джеймс, поди, на Шароновых кошках охотится, там зверя морского невпроворот. Может, по его прибытии пролив откроется, он же везучий, и англичанин в губе вперёд нас окажется.

— Может и такое быть, одного хорошего шторма достаточно, чтоб пролив очистился. Коллинз — хитрюга ещё тот, он никогда не пойдёт за нами. Зачем ему волок? Он нырнёт в Мангазею на торг. Ему главное — самому пройти, а после ни до кого дела нет, даже до нас, нерасторопных москвитян.

Хотя тоже рискованно — воды сейчас в проливе высокие, мели скрыты, можно сесть, что не возрадуешься, — продолжил о Коллинзе разговор Василий. — Но у Джеймса кормщики добрые, один Елисей Караев чего стоит. О нём особый сказ, нам бы переманить его к себе. Он не раз ходил на сам Грумант, жил там, зимовал, бил китов, поставлял ворвань в Печенежский монастырь. Он фатовый, ему везде везёт, хвала Николаю Угоднику, его заступнику. Бури, штормы его не трогают, проходят мимо. Хорошие деньги имел он с охотничьих и рыбных промыслов. Ходил также с иноземными торговыми кораблями. А почему не ходить, если выгодно? Считаю, за два года разбогател, заимел то, что обычный помор за десять лет, горбаться и рискуя, не сумеет нажить.

Афанасий молчал, он знал, что англичанину при любом раскладе выгодно и достойно иметь дело с архангельским воеводой, то есть с ним. Как-никак, а при сотрудничестве с государевым человеком, также при хорошем раскладе, можно приличный барыш получить за доставку груза. И чуть ли не главное, от чего Коллинз чуть не подпрыгивал до потолка,

— нос лишний раз утереть амстердамским, ливонским и ганзейским купцам.

Прав Василий, артель неплохая подобралась у иноземца. Кочи тоже хороши, срублены монахами в собственное пользование для новоземельного промысла, у них и перекуплены Коллинзом. В Печёрском море шесть лет назад попал под чудовищную бурю его торговый декар, целиком заполненный пушным золотом. Декар разбило о скалы и разбросало по частям да щепкам. С тех пор Джеймс отдавал предпочтение поморским кораблям. Понял, что только они приспособлены ходить северным путём из Балтийского, Белого, Баренцева, Нарзямского морей в Мангазейское.

Со своей стороны, Афанасий понимал, что главное для Джеймса не столько торговля, сколько политика — он же значился не столько купцом, сколько государевым человеком. Политика — особенно касаясь богатой Сибири, а из неё — Азии: Китая, Персии, Индии и так далее, только уж речными и горными путями. Получить доверие у русских, а дальше — простор для торговых и политических дел по большому азиатскому континенту открывался необычайный.

В этой связи англичанин очень хотел знать, прямо до зуда, наличие карт и лоций морских, наземных путей в Сибирь и далее. Жаждал их приобрести любым способом. Коллинза, естественно, не меньше интересовали и другие, особенно секретные, дела Государства Московского. Грязные лапы англичан уже чувствовались во многих начинаниях молодого государя Михаила Романова.

Но не пойман — не вор, а поймают — так всё равно кнутом не побьют, ноздри раскалёнными щипцами не порвут — не Иоанн Грозный на престоле, а Михаил — политик мягкий. Посол тоже не какого-нибудь задрипанного, а мощного Английского государства. И не те времена — обессилена сейчас смутой, войнами Россия, а когда-то запросто топила лазутчиков, шпионов в проруби, на дыбу вздымала — не боялась. Сейчас же не только Россия, а ни одна страна в мире не посмеет портить отношения с владычицей морей Англией. Да и чуть ранее только Иоанн Грозный из всех коронованных особ Европы мог себе позволить ос-

корбительные выражения в адрес Лондона, и то будучи убитым отказом ему в замужестве английской королевой. «Варвар! — оправдывали его англичане. — Что с него возьмёшь!» Сейчас как по характеру, так и по родовому корню в России другой царь, да и времена шаткие — только-только мирно жить начали.

Афанасию, признаться, тоже корысть, чтобы Коллинз доставлял груз к нему на склады, в лабазы в Архангельске, не обходил заставы для таможенных проверок и уплаты пошлины. Джеймсу, наоборот, торги в самой Мангазее выгоднее, там цены намного выше, для неё он товары подбирал, в основном спросом пользующиеся, дефицитные. Для неё неподъёмные бочки, бачки со снедью, с продуктами вёз, огромные тюки и кипы с тканями, украшениями, бижутерией, оружие дорогое, ценное и прочее, прочее. Свозил это сначала в лабазы к Афанасию в Астрахани, собирая чуть ли не со всего света, а дальше — сам, на своих кораблях прорывался в Мангазею, при недозагрузке своих кочей, а другой раз и по настоятельной просьбе воеводы Тучкова забирал и его попутный груз.

У Афанасия под началом нынче как никогда много кораблей. Целых шесть штук: один большой и пять малых кочей. Из-за большого и пытался он обойти Белый, уж больно тяжёл он для волока. Протащить-то, конечно, можно, но с какими потугами — потом и кровью. Стоит ли овчинка выделки? Из маленьких же наиболее значимы два струга, поскольку строились и снаряжались Соловецкой обителью на монастырском плотбище острова Валаам. Передавались вместе с мореходами, с припасами за долги по прошлым недоимкам. Монахов пять человек ещё добровольно обитель выделила для ведения службы и строительства часовни на месте предполагаемого селения задуманной таможни.

На два эти судна просил он сначала денег у ганзейской компании, жиреющей на торговле нашими пушниной и моржовой костью, да где там! Ни в какую, сколько ни упрашивал, сколько ни обещал льгот в дальнейшем. На том же стояли англичане, не учуяли, не усмотрели ни те, ни другие перспективы в деле Афанасия. Вот если бы Тучков вёл отряд прямо до Мангазеи! Тогда, не торгуясь, отдали бы они

хоть пятую, хоть четвертую часть прибыли за провод судов по Ямальскому волоку, через проклятушие Кошки-бары, перекрывающие проход в Мангазею. Ведь неизвестно им, сумеют, не сумеют москвиты построить проход — канал ко времени, не успеют — можно застрять, закукарекать на Ямале и не попасть в златокипящую и даже вообще не вернуться к концу судоходства в Архангельск. Иноземцы по наивности считали, что канал можно за сезон построить. Забыли, видать, что Ямал весь в вечномёрзлой зоне.

Джеймс-то прямо из кожи лез, чтобы доказать всем, в том числе и поморам, что туда-обратно до Мангазеи можно за сезон сходить. Доказывал это без выкладок, ставя карту на везение и адский труд поморов. Афанасий в возможности ходить на Мангазею за сезон с ним был согласен, но согласен только не за счёт рабского труда и случая. Были, конечно, и у него удачные походы за одно лето. Но одно дело слепой случай, а другое — постоянный, надёжный на многие годы водный ход.

Афанасий понимал, и почему Коллинз, отрывая от сердца, подарил ему карту Луки Вегенера. Джеймс рассчитывал на обратную взаимность — карту, составленную нашими холмогорскими поморами. Но Тучков тоже не лыком шит, он только поблагодарил Коллинза и прислал ему в подарок несколько соболиных шкурок. Негоже русскому воеводе плясать под чужеземную дудку! Карты создавались десятилетиями, с великим трудом, с риском, с жертвами пропавших судеб, загубленных жизней не одного десятка людей. Передать их, значит, предать мореходов. Изменить тем жертвам можно за один угарный кабацкий вечер, а уж по алчности так и подавно. Продал же Джеймсу один подлец — не стоит он того, чтоб называть имя, — карту, составленную холмогорским дьяком Дмитрием Герасимовым. Карту, почти сто лет назад сработанную с подробным указанием всех поморских дорог, ходов, путей и возможных на них опасностей. Данные для карты собирались мореходами-тружениками ещё со времён новгородских ушкуйников. Большинство поморов, в том числе и Афанасий, многие годы пользовались той картой, с уверенностью ходили по начер-

ченным морским дорогам и путям. Афанасий и в этот раз пользовался отчасти ею, уточнённой им самим и переработанной. И прошёл без потерь три моря, сверяя ходы по единственному на его головном коче компасу. Компас и карта, что и говорить, выручали добро, раньше-то вообще ходили без них — по звёздам, по солнцу. Кстати, в это время года, в начале лета, звёзды хорошо видны и указывают верный путь — только умей ориентироваться. По солнцу — хуже, Земля же, а следовательно, и её моря вокруг него крутятся, но, зная это, тоже можно попробовать. «Овальный поморский компас» мореходы в шутку называли солнцем. А ещё раньше, во времена царя Гороха, ходили просто по наитию — божьему провидческому дару, но такое присуще только избранным, а их на земле — единицы.

Знал воевода и другие мысли Джеймса, который хулил за непостоянство московскую власть. Действительно, как можно на такую власть рассчитывать, если она сегодня дарит льготы, а завтра отбирает?! Неудивительно — власть-то на протяжении одного лишь десятка последних лет не раз менялась. В России, как появлялся новый царь, менялись и власть, и её требования, законы. Такая власть не всласть! Власть должна выполнять обещания, условия договоров прежнего правительства, иначе нет ей веры.

Безусловно, путь в Мангазею за сезон не так прост, есть тайны у поморов, которые держатся в строгом секрете. Поморы иноземцами брезговали, они никогда не отдавали им свои карты, никогда даже не высаживали и не подбирали иностранцев, которые занимались сборами сведений или замерами морской кромки русских берегов. Поэтому и не было у Коллинза чётких, топографически выверенных очертаний русских побережий.

Спасибо Марфе, нынешней матушке-царице, она за дело твёрдо взялась, от слов данных не отказывается, у неё даже понятия «словами бряцать» нет. Она и серебро нашла, оружие, снаряжение. На её деньги, пусть и не великие в государственном масштабе, но дополнительно снарядили три корабля. С миру по нитке — нищему рубаха, а тут не рубаха, а целая флотилия у воеводы вышла. Два судна он целиком загрузил инструментом для земляных работ,

для рытья канала. Остальные — съестными припасами, шатрами, канатами, оружием, снастями для охоты, рыбалки. Часть — специальным снаряжением, в частности, одеждой для проживания в суровых зимних условиях.

— Эй, на руле, держать вправо! Ребятки, навались на паруса. Убрать бром-аксель! А ну, разом! — раздался зычный голос Василия Севрюка. — До места рукой подать. Веселей, ребятаки! Ступим на твердь земную, отдохнём тогда. Вволю потешимся.

Помощники кормщика легли грудью на тяжёлые водила руля, те натужно заскрипели, пошли с неохотой по кругу. Мореходы ухватились за концы канатов, повернули паруса главной мачты. Кочи, повинаясь воле людей, плавно легли курсом в сторону темнеющей вдаль кромки земли. И сразу, как по заказу, разбежались тучи. Небо очистилось, засияло, наполнилось голубизной. Лёгкий ветер набежал, потрепал паруса, но не долго, не серьёзно, только лишь слегка коснулся выбеленной ткани и убежал. Кочи вольготно и дерзко резали носами гладь озёр, бураня и вспарывая встречную волну. Высокий темнеющий берег полуострова медленно, но неотвратимо приближался.

Несмотря на то что ветер был стылый, а дыхание ледяных полей прохладно, лето всё-таки давало о себе знать. Палубы кораблей, то и дело обливаемые брызгами, а то и ушатами воды упругих волн, всё равно потеплели, размякли и заплакали багряными слезами. В пазах сосновых набоев, в обшивке бортов, в щелях досок — везде просочилась, проклюнулась, выперлась смола. Всюду, куда ни сунься, торчали выводками её смолянистые, казавшиеся прозрачными горошины. Резко, оглушительно пахло сосной, хвойным лесом, бором, неполозкой тайгой.

Мореходы задирали бородатые, густо заросшие лица к небу, к солнцу, живо стягивая с себя пропотевшие кафтаны, рубахи, подставляя оголённые тела ласковым лучам, с наслаждением окунались в солнечное тепло, в его ласковые, тёплые волны. С гиканьем, ором хлопали себя по груди, рукам, били товарищей по мускулистым спинам. К сожалению, недолго, вдруг внезапно, как только приблизились к полуострову — осталось рукой подать, ударил

встречный северный ветер — «сиверко», который, на глазах набирая мощь, налетал, жалил и мешал кораблям идти к полуострову.

Мореходы, не успев понежиться, с ворчанием и руганью натягивали обратно на себя одежду, прятались от пробирающего насквозь задиры за мачты, за паруса.

Афанасий, посоветовавшись с Севрюком, решил не останавливаться у намеченной цели — в устье Зелёной, а заняться охотой. Запасов еды, а особенно солонины, подчищенной за время похода, имелось достаточно, но опытные мореходы знали, что запас карман не тянет и в роковой час, ежели крушение, затёртость льдами, всегда может пригодиться. По уговору-то в устье Зелёной Афанасий должен был поставить стрелецкую заставу, на это дана ему грамота из Тобольского приказа, на заставе ещё по прошлогоднему соглашению обдорский воевода обещал выставить шестерых сменных военных с толковым писцом, умеющим вести приказные, столовые дела. Стрельцы из обдорского городка обещались выйти аргишем (оленим караваном), ещё по зимнему путику дойти до Зелёной, подняться по ней вверх и ждать корабли на Нейтинских озёрах. Путь от Обдорска до места встречи был не близок, но и не в тягость бывалым кочевникам. Доставить их обещали самоеды. На них тоже можно положиться — они для быстроты гоняли оленей по заснеженному льду Мангазейского моря. На льду снег лежит плотно, ровно, без застрогов, на нём нет, как в рваной тундре, оврагов, взгорков, нет опасных провалов, ловушек в заметённых кустарниках. Выходить на берег не надо, только разве на ночёвку и для подкормки оленей. Погоняй да погоняй. Берега губы большей частью высоки и круты, пастухи для выхода использовали лайды (долины), устья рек, впадающих в губу, по ним легко поднимались на издревле известные им ягельники. Подкармливали оленей — и вновь на ровную морскую дорогу, и опять мчи да мчи во всю прыть, на всю волюшку вольную, на какую способны быстроногие олени и сами каюры-погонщики. Единственное, что мешало — торосы, приходилось уходить от них, петлять, а иногда и заваливаться, тащиться на боку либо — что ещё хуже — под

нартами. В таких случаях заранее привязывали себя к ним и тогда чёрт не брат. Обычно самоеды слово держали крепко — что обещали, то делали. Так что за судьбу отряда обдорского воеводы Афанасий не переживал, знал, что эти надёжные, лихие люди придут на место в точно назначенный срок.

Волок преодолели тяжело, потрудились, поломали спины славно, но управились, как и наметили, в срок. Вышли в Мангазейское море и всю последующую ночь и утро кочи шли вдоль западного берега Ямала. Высокие чёрные и иссиня-красные обрывы стояли стеной по правому борту кораблей. Старший кормщик, всю ночь простоявший у руля, не захотел дышать духотой корабельной каюты, спал здесь же, на открытой палубе, укрывшись длинношёрстной овчиной драного полушубка. Поднявшееся высоко солнце припекло его, но укрывшемуся с головой кормщику ничто не мешало, он продолжал, громко всхрапывая, мирно спать и по-детски пускать слюну на подбородок.

Воевода давно встал и с интересом поглядывал на кручи, сложенные глиной, песком, супесями, местами сильно обрушенные волнами прибоя. По кручам от растеплённой лучами солнца вечной мерзлоты текли в море грязные ручьи, ручейки. Иногда кочи из-за мелей, обширно встречающихся на пути следования, уходили в глубь моря. Желтоватые тела мелей не представляли опасности, они ещё издали, в спокойной воде, с высоких бортов кораблей хорошо просматривались. Попутный ветер продолжал надувать паруса, что радовало сердца мореходов, а особенно — их воеводу Афанасия Тучкова, — цель была близка.

2. Чумовая — река неожиданностей

Идя по береговой кромке полуострова, отряд на второй день пути подошёл к устью небольшой речки, плавно впадающей в море. Здесь мореходы и решили остановиться на некоторое время для охоты, рыбалки — для того, чтобы, как и говорилось, пополнить запасы. Поскольку знали, что, когда начнётся копка канала, переустройство волока, а также строи-

тельство таможни на Зелёной, времени не будет. Северное лето, к сожалению, очень короткое. Июнь ещё не лето, июль уже не лето.

— Как речушка эта называется? — спросил Афанасий у кормщика.

— Чумовая, воевода, — весело отозвался тот, озорно улыбаясь и скаля блестящие на солнце зубы. Хорошая погода, удачно осуществлённый волок кораблей, видимо, располагали к хорошему настроению.

— Тут что, чума ходила?! — насторожился Афанасий. И сразу посерьёзнел, загорелое до черноты лицо напряглось, в глазах мелькнула тревога.

— Нет, слава богу!.. В устье этой реки я прятался, когда лет пять назад при возвращении из Мангазеи нас прихватила буря. Еле успели ноги унести. Ежели не она бы, затонули или на берег бы нас выбросило. Буря-то бушевала недолго, но сильно, на следующий день уже стихла, волны улеглись, небо прояснилось. Я вышел на берег у тех вон холмов, осмотрелся, — показал Севрюк рукой вправо. — И узрел самоедские чумы. Штук пять-шесть на вершине сопки. Как их ветром в ту ночь не сдуло, непонятно. Стихия ночью разыгралась так, что света белого не видать. С тех пор и зовут эту речку Чумовой. Мы за спасение наших товарищей на другой год крест здесь поставили нашему заступнику святому Николе Угоднику. Во-о-он он, издалека виден, — опять ткнул пальцем Севрюк вправо по ходу струга. — На самую вершину, как на Голгофу, тащили его артельщики с припевками, с молитвами. Все сделали, как и положено, как завещано нашими предками.

— Вот оно что, а я уже подумал о проклятой болезни, — повернулся воевода к кресту, перекрестился троекратно, пристально всматриваясь в большое, почерневшее на ветру сооружение.

— Чума и холера не шибко приживаются в Заполярье. Тяжело ей по тундре бегать. Суслики и тарбаганы, её разносчики, здесь не водятся, не то что в ногайских степях или в жаркой Астрахани. Холод их тут давит, мерзлота норы рыть не даёт.

— Я думаю, что здесь ещё Бог руку приложил. Холера и чума любят собирать обильную жатву, а здесь народу-то раз-два и обчёлся, вот наш заступник и не даёт им ходу. Как ни

странно, суслика здесь нет, а мышей, особенно лемминга, хоть отбавляй, им же тоже норы нужны или у них зубы железные. В Мангазее тоже по лабазам крупные пасюки, с кошку — не менее, шныряют. Заговорились, слушай, мы, рули-ка вправо, в затишек, господин кормщик, швартоваться будем.

Место швартовки выбрали на редкость удачное, речушка оказалась достаточно глубока, даже при отливе суда беспрепятственно прошли меж желтеющих на глубине отмелей. Пришвартовались вдоль отрывистого берега, заросшего густым зелёным мхом, тоже удачно и почти одновременно всеми восемью кочами. Палубы малых кораблей при отливе оказались вровень с берегом, а борт большого корабля почти на три аршина даже вознёсся над прибрежной полосой. Петля реки, высокие берега с версту длиной и коса, далеко уходящая в воду, образовали небольшую со всех сторон подходящую бухту, в ней без всяких сомнений можно было переждать любой ураган.

Возбуждённые мореходы наконец-то сошли, ступили на долгожданную твердь земли, шутили, толкались, подначивая друг друга. Не сговариваясь, дружно разбили стан, поставив недалеко от берега татарские шатры, тут же натаскали топляка, развели костры. От берега немного погода скользнула на воду небольшая лодка — «стружок» — это четверо артельщиков, по слову Корнея Заварзина, отправились мелкочейстыми сетями перегораживать реку.

Афанасий кликнул шестнадцатилетнего казачка Ивашку Дёмина и направился с ним на разведку вдоль берега, вверх по течению Чумовой, к высокому обширному холму, возвышающемуся над окрестностями. Воевода легко ступал по набитой зверовой тропе, выющейся, как змейка, вдоль берега, оставляя по правую руку бугор с чернеющим поморским крестом.

Около путников всюду шумела тундровая жизнь: свистели кулички-круглоноски, перекликались плавунчики, кудахтали куропахи, пели лапландские подорожники, дрались не на жизнь, а на смерть дутыши, турухтаны. Пролетали над головой стайками, издавая свист острыми крыльями, кулики-воробьи, утки чирки, за ними — утки разных мастей и клином — гуси. Тропа местами сужалась, заросла камышом,

густыми малорослыми полярными берёзками, багульников, приходилось не идти, а продираться. Из густой травы, одноколосковой пушицы и прямостоячей осоки поднялись тучи комаров и вьедливой мелкой мошки, тут же облепившей лица разведчиков. Мореходы отвыкли за зиму от гнуса, вначале отмахивались ветками тальника, а потом, не выдержав напора кусачей твари, накинули на головы лёгкие шерстяные башлыки, щедро пропитанные вонючим дёгтем — наилучшим средством от гнуса. Казачок старательно повторял маневры любимого капитана и, пытаясь под нос, шлёпал подвёрнутыми кожными бахилами по торфянистой жидкой тропе. Его умильная рожица, блестя на солнце, чернела потёками дёгтя, сверкала белозубой улыбкой. Рядом с Ивашкой, путаясь под ногами, бежало единственное в отряде животное — пёс Полкан, который своими размерами вполне соответствовал прозвищу — «полконя».

— Господин воевода, в здешних местах никто, что ли, не живёт? — спросил Ивашка, догнав Тучкова и заглянув лукаво в глаза.

— Живут, конечно, но мало. Совсем мало, брат Ивашка. Только такие люди, как мы с тобой, — бродяги да ненцы, которых на весь огромный Ямал всего несколько тысяч, — ответил Афанасий и улыбнулся в ответ. — А почему это тебя заинтересовало?

— Тропа плохо натоптана.

— Это точно. Тропа-то звериная, человек по ней мало ходит, а зверь — он легко ступает, не утаптывает, — разъяснял Афанасий, а сам, хотя и знал, что врагов здесь нет, всё равно по привычке цепко и зорко оглядывал окрестности. — Зверья зато здесь много, кормится зверь около реки, на водопой ходит. Присмотришься — тьма мышей под ногами шмыгает, за ними песец, лиса приходят — мышкуют, полярная сова их любит, выслеживает. Заяц тут тальником, травкой, ерниками кормится, олень приходит водицы хлебнуть, волк его в засаде поджидает. Куропатки разодетыми боярынями вперевалку бегают, не боятся, что их, в свою очередь, лиса караулит. Вот, Ивашка, сколько здесь птицы, зверья разного, все к речке жмутся. Жизнь на глаз человеческий не видная, а она на самом деле кипит, ни на миг не останавливается.

— Господин воевода, а какие здесь зайцы — большие?

— Нет, такие же, как у нас в Архангельске, — беляки, тумак. Русаки в тундре не водятся, пища здесь скудная. И ещё потому, что самоеды сено не косят, русак же готовое сено любит — полежать в копне, в стогу для него великое удовольствие, — пошутил воевода.

Тропа пошла в гору, и они замолчали, жирные лемминги, похожие на полосатых бурундучков, юрко шмыгали перед путниками, шустро ныряя в густые заросли тальника. Неожиданно на тропу, нисколько не смущаясь, вывалила серая полярная утка-шилохвостка со своим плакующим выводком, направляясь вниз по тропе, в воде поплавать, утят поучить, насекомых пособирать. Птица заметила пса и, предупреждая опасность, тревожно закрикала, цыплята тут же замерли, превратившись в комочки, напоминающие тёмно-жёлтую грязь на проезжей части дороги.

— Ишь ты, схоронились, думают, что спрятались, — засмеялся Ивашка, останавливаясь перед выводком по примеру воеводы.

Шилохвостка неожиданно кинулась к путникам, а потом в кусты, вытянув в сторону крыло и прихрамывая — подранком нарядилась, закрикала, привлекая к себе внимание, ещё громче, отводя опасность от цыплят.

— Не дури, никто за тобой не кинется, отводи своих дитят, — крикнул, смеясь, Афанасий и свистнул по-разбойничьи — пронзительно и громко, так, что Ивашка с испугу сжался, присел. Утята, наоборот, со страху ожили и кинулись врассыпную в кусты. Путники поблагодарили бога, что Полкан отстал, он-то из-за охотничьего усердия запросто мог передавить весь выводок. Полкан, хотя и был далеко, но как услышал свист хозяина, сразу отозвался звонким лаем и вскоре появился с измазанной тёплой кровью и птичьим пухом, но довольной мордой.

— Раздолье тут тебе, образина. Птицы невпороворот — сколько за лето передавишь, — дружески пожурил пса Тучков и приласкал собаку — потрепал густой загривок, облепленный комарами и мошками.

— Давайте прогоним его в стан, а то утят догонит и подавит, — пожалел выводок Ивашка.

— Не дадим, да и насытился он уже. Пусть бегаёт, набирает резвости, а то насиделся в коче, пока сюда шли.

— Я видел, как он сидит. Лишь только заметит уток или гусей — сразу охотничьей страстью брызжет, мечется, гавкает, за борт норовит. Дюже охоч до пернатых. Его только цепь и удерживала. И ту сколько раз рвал, а мы его потом всей командой вылавливали.

— То-то, знай наших! Ничего не скажешь, охотник он рьяный! Добрый пёс, на ногу быстрый. Надо и нам прибавить, видишь — впереди голая сопка. Давай ускорим шаг, чтоб на одном дыхании наверх заскочить. Выдюжишь или не спеша пойдём? — спросил заботливо, но с долей иронии Афанасий.

— Я-то — известное дело — выдюжу. Как стрела вылечу.

— Я и не сомневался.

Они поднажали и быстрым шагом подошли к подножию холма и, не останавливаясь, по пологому склону, поросшему лютиками, хвощом и ягельником, поднялись на его плоскую вершину, продуваемую всеми разбойными ветрами. На проплешинах холма редкими клочками проросли лишайники. Ягель громко хрустел под ногами, напоминая о жаркой погоде (в сырость он мягок и нежен) и о добром начале лета. Ивашка первый раз с восторгом увидел седой мох, сунул веточку в рот, пожевал и, скривившись, выплюнул.

— Как только его олени едят? Корова, та ни за что не станет, а если силой накормить, то, думаю, сдохнет.

— Зато олени его с удовольствием поедают, ничего вкуснее для них нет. Набредут на ягельник — не выгонишь, грибы ещё любят, тоже у них лакомое блюдо, и не определишь, которое из них первое. Корова по-другому устроена, она что попало не жуёт, да и молоко после такого корма будет горькое. На острове Белом есть мох, который даже человек может есть, пользы от него только мало. Его на крайний случай, при бескормице, говорят, при лихоманке помогает.

— А вам приходилось?

— Бывало, друг Ивашка, когда жрать нечего, голод заставит. Что ты всё о еде да о еде?! Лучше посмотри, красота-то вокруг какая!

Действительно, в море гулял зелёными волнами несильный шторм, водой захлёстывая берега, на севере моря, на середине водной глади качались молочные с грязью льдины, вырывавшиеся с клёкотом из малых рек. На юге моря гуляла мерная волна, билась об отмель, образуя белые гребешки пены. За береговой чертой рыбачили крупные чайки-халеи. Они, выследив рыбу, падали камнем вниз. Промажнувшись, недовольно, пронзительно, как сварливые бабы, орали, хлопали крыльями. На поверхность, в промоины, меж льдами то там, то тут выныривала, забыв об опасности, лупоглазая нерпа. Она, гоняясь за косяками вкуснейшей жирующей сайки и корюшки, не замечала, как к ней осторожно подкрадывался белый медведь.

Внимательно осматривая местность, путешественники неожиданно в неглубокой седловине меж холмами обнаружили с десятков грузовых нарт с увязанными на них большими тюками поклажи. Рядом с нартами отчётливо просматривались следы старых, омытых дождями костров.

— Это что за стан? Откуда он взялся в безлюдной тундре? — спросил казачок. — Людей не видеть. Зброшенный, что ли? Может, погибли?..

— Это старое стойбище пастухов, они, видеть, к морю оленей скасляли¹, а припасы здесь оставили. Что они определяют про запас — то называют «мюд», летний запас — летний мюд, запас на зиму — зимний мюд. По всей тундре на сотни километров друг от друга лежат оставленные ими поклажи — мюды, тундра им дом родной, где ни остановились, там и приютились. И никто даже безделицу не возьмёт, и нам ни в коем случае нельзя, быстро вычислят и проклянут.

— Эвон как! Ну а если ещё кто покусится?

— Кто покусится, кого ты имеешь в виду?

— Ну, мало ли, — почесал затылок Ивашка.

— Зверь, чужеземцы... Свои всё же, так кто-нибудь...

— У ненцев нет воров, — резко перебил Афанасий. — Они живут по совести. У кого учиться — так у них. Эх, Ивашка, если бы все люди на свете жили по совести, как Христос завещал, сколько бы зла убавилось. Самоеды Библии не знают, Нагорной проповеди не читали, тем не менее живут по библейским законам.

— Они что, святые, совсем без греха?

— Нет, конечно, — засмеялся Афанасий. — Люди есть люди, без греха не бывают. Понимаешь, мерило добра и зла, хотя Бог и закладывал для всех одинаковое, а понимают их все по-разному, у нас, христиан, и у них, язычников, во многом они не сходятся. У них, например, чужое не то что красть, а даже трогать нельзя.

— Н-да-а! — растянул Ивашка. — Тогда, конечно, да. У нас такого нет.

— Это точно, — проговорил Тучков и добавил: — Что плохо, Ивашка, много у нас таких, кто не по совести живёт. Ты пока не сталкивался с грязью, обманом, подрастёшь, сам познаешь, где белое, где чёрное. Не сразу, конечно, с годами, и люди добрые подскажут. Не внемлешь, не возьмёшь за правило, сам обязательно обожжешься, впрочем, на ошибках учатся, набьёшь себе шишек, тогда и начнёшь понимать, что к чему, — подытожил Афанасий и снова с восхищением огляделся.

Прямо перед ним по всему горизонту зелёным ковром раскинулась холмистая тундра. Бугры, холмы, взгорки, ложбины, болота, речки, речушки, озёра, заводи, редкий по берегам рек лесок... Особенно живописно смотрелись холмы — величаво, мощно. Каждый кого-нибудь да напоминал — либо человека, либо животное, они хорошо продувались ветром, который уносил с собой в лес, в камыши надоедающих до жути комаров, мошек, паутов. Афанасий смотрел на богатые тундровые пейзажи широко раскрытыми глазами, жадно вдыхал упоительный запах — дурман тундры. Разноголосое пение певчих птиц, крики, хрипы зверей, стенание, зуд гнуса, вой ветра наполняли его душу патокой, радовали до умиления сердце бывалого морехода-путешественника. Он стоял навстречу ветру, подставляя лицо тугим струям воздуха, и не замечал, как от умиления катилась слеза по щеке, выбитая всё тем же ветром.

3. Гость из тундры

— Господин воевода, — тревожно закричал мальчишка. — Колокольцы звенят. Я слышу — недалеко.

Афанасий наострил уши, повернул правое к ветру.

— Точно — звенит. Похоже, что в нашу сторону. Только из-за вон того холма не видно. Гости к нам едут. Ага, что я говорил, вон и оленье упряжка показалась. Четвёрником идут, быстро будут.

И действительно, сразу звон колокольцев стал явственней, нетерпеливое покрикивание каюра и усталое хorkанье оленей слышней.

— Одна упряжка. Спустимся к ней? — спросил Ивашка. — Самоед нас не узрит, он, похоже, нас ищет.

— Уже узрел, пускай сам поднимается. Олени на ветру хоть от гнуса передохнут.

Вскоре к ним подкатила упряжка, запряжённая в лёгкие нарты. С неё, оставив короткий лук и колчан со стрелами, спрыгнул низкорослый, коренастый ненец в летней выгоревшей малице, под малицей — поддёвка из оленьей шкуры. Малица перепоясана широким ремнём из тюленьей кожи, с массивным охотничьим клинком в костяных ножнах, скреплённых кожаными поясками в медных бляшках. Ненец первым делом привязал жоака к копылу нарты, воткнул в землю хорей (длинный шест), которым управлял оленями, лишь затем лёгким, чуть ли не подпрыгивающим шагом направился к русским мореходам. Мореходы, ожидая, стояли не шелохнувшись, молча разглядывая самоеда. Ивашка — тот вообще пялился, от удивления раскрыв рот. Ямальных аборигенов он видел впервые. Ненец казался ему похожим то на лопаря, что из мурманской тундры, то на татарина из ковыльных степей. Широкоплеч, низок — воеводе лишь по плечо, лицом смугл и кругл, без усов, бороды, видно, что молод. Глаза живые, узкие, как и волос, чёрно-маслянистые.

— На нашего татарина Игнашку похож, — шепнул казачок и тут же добавил, усмотрев длинные, как у попа, волосы. — Не стрижен, как наш чернец. В шкуре ходит. Не жарко?

— Жарко, должно, но у них так принято, малицу мужчина снимает только в чуме. Малица от комаров спасает, так что выбирай, что лучше: жара или гнус. Ты сейчас помолчи, — положил тяжёлую руку на плечо пацана Афанасий. — Не крутись под ногами, не встревай. У меня разговор будет серьёзный.

— Ань торова, еруо², — поприветствовал путешественников ненец и улыбнулся во весь рот.

— Здравствуй, кто ты?

— Моя Хаулы Окатетто зовут, — свободно по-русски ответил ненец и для убедительности ткнул себя пальцем в грудь.

— Меня — Афанасий Тучков, — протянул руку для приветствия воевода. Мужчины обменялись рукопожатием, присели на сухой бугорок лицом к ветру, дующему со стороны русского становища, как раз напротив упряжки. И тотчас же к ним вылетел мокрый по самое брюхо Полкан. Рыкнул, не останавливаясь, на оленей, те на него — никакого внимания. Они, чувствуя себя на холме привольно, стали не спеша укладываться на мох. Однако коренной крайний справа жоак (хабт), разглядев уж слишком большого, не внушающего доверия пса, насторожился, хorkнул недовольно и остался, косясь большими влажными глазами на пса, стоять с опущенной к земле головой, рогами к собаке. Пёс и не нападает, видимо, поняв, что олени не дикие. При спокойном, не дающем команду «взять!» воеводе их лучше вообще не трогать, Полкан подался к людям и улёгся возле ног хозяина, высунув длинный красный язык.

— Саво вэнгу³ волка берёт? — спросил самоед, кивнув на пса.

— Берёт, — подтвердил Афанасий, поддерживая зачатый разговор.

— Откуда ты? Далеко ли твой чум? — опять, не картавя, четко спросил ненец по-русски.

— Из Архангельска мы, служивые люди у царя-батюшки. Велено нам прокладывать водную дорогу на Мангазею — проход вместо волока рыть, соединить каналом Нейтинские озёра, — сразу изложил причину своего пребывания здесь Афанасий.

— Трэм — хорошо. Я знаю Архангельск. Оттуда много людей у нас бывает. Идут на больших лодках, раньше и на лошадях были. Вся ямальская тундра Архангельск и Москву знает. Много ли купцов нынче будет оттуда?

— Будут и в это лето, и в следующее. Морем уже вышли, должно быть, на подходе. Ты какого еркара⁴ будешь?

— Мой отец Окатетто, дед Окатетто и род Окатетто. Бабу взял у Худи Ямала.

— Худи Ямала? Это Тар Ямал, ты его знаешь?

— Знаю, его вся тундра знает — и лесные, и тундровые ненцы знают.

— Далеко ли он отсюда кочует?

— Сейчас он Сэру Ирику сторожит. День пути будет.

— Мне надо его увидеть. Разговор серьёзный к нему есть. Он, как и прежде, ваш вождь?

— Конечно, кто же ещё! Что за разговор у тебя?

— По казённому делу.

— Ты, значит, казённый человек? Моя сразу не понял, — мелькнула большая заинтересованность в глазах Хаулы, он с уважением оглядел красный кафтан Афанасия.

— Царский слуга! Имею звание — воевода.

— Ясак брать будешь?

— Нет. Ясак пусть обдорский старшина собирает. Кому платили — тому и платите, — заверил Афанасий. — Мне другое поручено. Мне люди для прокладки канала, много людей нужно.

— Ваших мало? — протянул руку в сторону стана Хаулы. Туда, где от пылающих костров к небу тянулись плотные седые струи дыма от сгорающего плавника, где суеилось множество морского люда. Спросил и недоверчиво посмотрел на русского начальника.

Без мала восемьдесят человек насчитывалось под началом Афанасия. Они с холма как на ладони просматривались, даже их лица — весёлые, жизнерадостные, их фигуры — кражистые, полные сил.

— Мало! — вздохнул Афанасий. — Дело большое задумано. Работы много, без вашей помощи не обойтись. Для того и хочу с Тар Ямалом говорить. У меня кобылы нет, чтобы к нему ехать. Да и где его искать — тундра большая. Вы к тому же на одном месте долго не стоите — кочуете. Очень тебя, Хаулы, прошу, пусть к нам приедет. Так и передай. Жду, мол, с нетерпением. Пастухи без него управятся? У него есть кому стада гонять?

— У Тар Ямала? Да у него тьма пастухов.

— Вот и передай. Воевода архангельский, мол, ждёт. Очень важный разговор. Пока будь гостем. Идём к нашему шалашу.

— Как же олени? — обернулся Хаулы к животным.

— Не горюй, — засмеялся Афанасий. — Мой парнишка их вкруговую к стану приведёт,

напрямую-то всё равно не проедешь — кусты, ерники. Ивашка — паренёк смышлёный, он разберётся. А мы пешком, поговорим по дороге. Ивашка, справишься с оленями?

— Господин воевода, я же никогда не ездил на них.

— Не дрейфь, казак! Здешний олень спокойней нашей лошади в десять раз. Возьмёшь вот этого главаря за уздцы и поведёшь в лагерь по чистой тундре. Вот так, — показал рукой Афанасий путь Ивашке. — В кустарник не лезь, обходи стороной, а то постромки запутаются — пропадёшь тогда. Понял? Ну и топай, хорей, шест то есть, не забудь.

Дав указания Ивашке и проследив, как он справляется, Афанасий встал, отряхнулся и обратился к Хаулы:

— Давно за нами наблюдаешь?

— Моя Тар Ямал послал охранять святое место Ямал-Хе. Я море смотрел, оттуда мало-мало видно Белый. Увидел большие лодки, Тар Ямал послал моя спросить, куда идут лодки. Что за люди, зачем по тундре бродят, что ищут?

— Нам скрывать нечего, со временем всё без утайки расскажем. Ты для начала скажи, долго ли лёд будет стоять в проливе?

— Если Нгэрм пошлёт сильный ветер, то лёд скоро в море уйдёт, может ещё солнце растопить, если по-настоящему жарить будет.

— Кто такой Нгэрм? Не знаю я такого.

— Большой бог, там живёт, — ткнул Хаулы рукой на север и, помолчав, поведал. — Я пойду лодкой на Белый, когда льда в проливе не останется. Оленя-дикаря-илебца буду брать. Тын-зан⁵ новый нужен, из кожи дикаря вязать надо.

Афанасий кивнул, он знал, что шкура дикого оленя очень высоко ценится у ненцев. Илебц раньше домашнего уходит на север, переходит по льду залив и всё лето и осень до нового ледостава кормится на Белом. Дикие важеньки рожают раньше домашних на месяц-полтора, что позволяет ягнятам без труда идти вслед за матерью, а матери — за самцом. Стада, таким образом, не несут больших потерь. На Белом их, диких оленей, пруд пруди. На острове к тому же благодаря близости полярных льдов летом нет гнуса, нет и известных врагов оленей — волков. Обширных пастбищ тоже нет, поэтому на зиму олень уходит на материк,

идёт до Камня (Уральских гор), а то и в богатые тобольские леса. Поскольку дикаря не жрёт гнус, шкура его цельная, без дырок — не прокусана, крепка, хороша для выделки, из неё получается добрая сбруя, упряжь, арканы. Такая шкура высоко ценится и идёт у ненцев как разменная монета, за одну шкуру илебца дают десять домашних.

Не успели путники подойти к становищу, как их окружили мореходы, казаки, стрельцы, разглядывая самоеда как диковинку, удивляясь на пёструю роспись одежды, обуви, на полное равнодушие самоеда к гнусу. Василий Севрюк стоял в стороне и ухмылялся, он за последние двадцать лет восемь раз ходил на Мангазею, ненцев навиделся, понимал их хорошо, знал, что они не боятся гнуса, наоборот, гнус боится запаха их тела, источающего резкий, годами не смываемый вонливый пот. Знал он и другое: что в Заполярье комара не так уж и много, и что там, куда они направляются, куда также спускаются, кочуют и ненцы, гнуса значительно больше, и что он крупнее и кусачее. Те же, кто в походе был первый раз, с любопытством и назойливостью рассматривали лёгкую, просторную и в то же время непрокусываемую насекомыми одежду — малицу Хаулы. Стрелец Игнашка, крещённый татарин, протянул руку к поясному ножу ненца, но Василий перехватил руку и двинул локтём татарина в бок так, что Игнашка начал хватать ртом воздух, словно рыба на суше.

— У самоеда нож, что у казака сабля, — басом сказал ему Василий на ухо так, чтоб всем было слышно. — Никогда не тронь. Тронул, значит, надо меняться на подобную вещь. А тебе и дать нечего. Сабля твоя ему не нужна, в тундре сечь, рубить наотмашь не принято, да и некого. Пищаль отдашь, а без пищали тебя командор враз жалованья лишит или выгонит. Так, господин воевода?

— Вестимо, так. Не зная брода, не суйся в воду. Ты, Игнашка, не стой колодой, займись-ка лучше угощением гостя.

— Что за белая кость у него к поясу прикреплена? — спросил у Заварзина один из поморов.

— Оберег. Его из медвежьего зуба делают.

— Правда? Смотри, какой огромный клык.

Хаулы что, сам такого большого мишку завалил? — заудивлялся мужик, разведя руками.

— Ты сам у него спроси, не убудет.

— Для чего он, клык-то энтот?

— Я же тебе сказал, оберег, — нетерпеливо рявкнул в ответ Заварзин. — От чертей охраняет, от чёрного сглазу, от неудач на охоте, да мало ли.

— Язычники. Чтоб их черти драли, — понизив голос, прошептал помор.

— Язык не распускай!

Хаулы Окатетто, ошарашенный большим сборищем людей и усиленным к себе вниманием, смущённо улыбался, пожимая руки бородатым и наголо обритым луця, то есть русским. Руки их, видел он, мозолисты и мускулисты, выше локтей белы, как моржовый зуб, а лица от солнечного полярного загара и морских ветров просолены и черны. К крайнему шатру подъехал Ивашка, он легко управился с упряжкой и уже не шёл, а сидел на нартах, как заправский каюр. Он лихо, так же, как и до того ненец Хаулы, вонзил хорей в торфянистую почву, привязал жоака к копылу и помахал рукой ненцу. Мол, всё хорошо, олени доставлены. Рядом с ним так же гордо трусил Полкан, всем своим видом показывая, что он на берегу занимался важным делом, а не бил, как прежде, баклуши на палубе.

— Хаулы, идём к костру, — пригласил Афанасий.

— Мэтта итя — смотреть нарта надо, — он подошёл к упряжке, оглядел узел кожаных вожжей — верно ли, надёжно ли за копыл саней привязаны. — Смотри-ка, начальник, твой казачок как ненец вяжет!

— На море узлам выучен, — довольно засмеялся Севрюк, словно его, а не парнишку похвалил самоед. И вполне заслуженно похвалил, он лично учил мальчика вязать морские узлы. Знание такое являлось обязательным для любого помора с детских лет.

Костёр меж тем поджили, он пылал вовсю, в его прожорливую пасть шли брёвна, сучки плавника, притащенные поморами с берега моря, которые лежали для просушки срубом, выбеленные морем и солнцем. Посреди кострища на чугунной треноге стоял огромный — на шесть вёдер, закопчённый до ушей-прихватов медный казан, в котором варилась уха,

распространяя душистые запахи по всему берегу, такие вкусные для уставших, наработавшихся людей, что слюнки текли. За время путешествия, начиная с Югорского шара, мореходы не ели горячего, обходились сухомяткой. Волны, постоянно ходившие в море, не позволяли разводиться огонь ни в корабельной каюте, ни на палубе коча.

— Хаулы, ты уху любишь? — спросил Ивашка.

Ненец, чтоб не обидеть хозяев, неопределённо пожал плечами. Ивашка не знал, что самоеды редко едят варёное, предпочитают всё сырое. Мёд, соль, хлеб тоже не признают.

— Ничего, съест, не отравя. Распробует, потом за уши не оттянешь, — сказал вслух Василий больше не самоеду, а мужикам, столпившимся с мисками и ложками у казана.

Перед трапезой по обычаю встали все в ряд, сняли шапки, ушанки, кепки и помолились, мелко крестясь и кланаясь:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, ты даеши нам пищу во благо и во времени. Отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняши всякое животное благодение...» Молитва скорая, как раз для полярных мест, где постылый гнус не даёт долго псалмы распевать.

Дымящуюся паром уху разливали огромным черпаком по деревянным мискам, сухой хлеб ломали через грудь. Десяток здоровенных двухаршинных щук и прочую мелочь выловили перед раздачей из варева и положили на скошенную саблей зелёную траву.

— Подай гостю свежую рыбу, — подозревал Афанасий Игнашку, шепнул на ухо. — Не вздумай щуку предлагать. Не едят они её, не считают рыбой. Запрет у них на неё. Понял меня?

— Понял, — ответил Игнашка и полез за рыбой.

Полкан метался меж двух артельных котлов, благодарно махая хвостом тем или иным едокам за подачку, ловил на лету брошенные вверх объедки.

Хаулы поковырял варёную рыбу и отодвинул. Игнашка уловил момент, живо смотался к реке и принёс из свежего улова двадцатифунтовую нельму и подал с улыбкой самоеду. Хаулы тут же, на глазах моментально снял с неё шкуру чулком, распотрошил и начал, смачно

причмокивая, за обе щёки уплетать рыбину. От соли, предложенной ему, отказался, хлеба небольшую краюшку взял и назвал, пристально рассматривая, по-ненецки «нянь».

— «Нянь» — хлеб, стало быть, по-нашему, — растолковал непонимающим один из казаков.

— Если есть название, то, значит, едят его, — поддержал его другой.

— В Мангазее, знать, покупают или обменивают, там хлеб из привозной муки пекут. Может, муку берут, чтоб самим печь, у нас учиться. Мы-то без него никуда, хлеб у нас всему голова. Может, и до них дошло — распробовали.

— В Мангазею не только муку везут, туда купцы со всего света съезжаются. Шёлк, парча, меха, сбруя, кожа, оружие и много чего другого привозят. Проще сказать, чего не везут. Самоеды на побрякушки падкие, всякую дребедень на меха обменивают.

— Продукты хоть и везут, а всё равно запасов частенько не хватает — не довозят либо рассчитывают неверно, — поделился с едоками Афанасий, переживший три года назад голодную зиму, угостившую всех цингой. Спасали людей самоеды, привозили вяленую, мороженую рыбу, пускали под нож пелея (крайнего справа из упряжки оленя). Мясо, кровь, шкуру отдавали за просто так. Весть о страшной напасти дошла до Обдорска, город, поднаторившись, собрал обоз со съестными припасами (люди порой отдавали последнее) и погнал его в Мангазею. Однако как ни старались дойти быстрее, но далёк и долог оказался путь оленного аргиша из Обдорска до Мангазеи. На пустой-то нарте — неделя, на гружёной — вдвое больше. На пути наперекор обозу встали метели, пурги, небывалые в том году морозы. Они же не давали местным охотникам выходить на рыбный промысел, хоть как-то поддерживать оголодавший люд. Пока помощь пришла, рядом с городом большой погост вырос, гораздо больше существующего 20 лет. Мёрли прежде всего и почти поголовно приездие, по тем или иным причинам оставшиеся на зиму в городе. Скончались несколько сотен и местных горожан. Люди продолжали умирать даже тогда, когда пришла помощь со съестными припасами. Цинга, психические расстройства — самые страшные заболевания в

долгую полярную ночь и в не менее долгую студёную зиму.

Трапеза заканчивалась, рыбу запивали крепко посоленной ухой — загустевшей юшкой, вдогонку зажёвывали снедь репой. Репой угостили и Хаулы, тому она жутко не понравилась, он куснул разок, пожевал и с трудом проглотил. Огрызок с отвращением долго рассматривал и, покосившись на едоков, отложил в сторону.

— Не нравится самоеду монашеская пища, — засмеялся кто-то из стрельцов.

— Ему она не нужна. Мяса и рыбы — валом. Ешь — не хочу, — сказал другой. — Видал, какие олени упитанные. Их у самоедов тысячи — стадо за стадом. А рыбы — она сама в сети прыгает. Однако нам всё одно благодарить должно монахов — сеятелей, землепашцев, они для нас своего труда не жалели — корячились, спины гнули.

— Это точно, — поддержал первый. — Русаки куда без репы да квашеной капусты?

— Бог наплатил — никто не видал, — плотно поев, встал с чурбака Афанасий, перекрестился двупёрстно и после общей молитвы, зачатой Козьмой, добавил: — А кто видел — тот не обидел. Мореходы, служивые люди, слушай, что на завтра скажу, кого какое дело ждёт. Яшка, Петро — стан сторожить. За кострами Ивану с Семёном смотреть, чтоб не разгорались особо и чтоб не гасли, в оба глаза глядеть. Без костра, а значит, и без еды — что за жизнь? Не походная она, а тюремная, — раздал он наказы походникам, всем по порядку, повернулся к Хаулы и Севрюку, проговорил, улыбнувшись: — Вот теперь можно и разговор продолжить. На сытый желудок — варит рассудок.

Люди потихоньку расходились от костра, кто мыл посуду у реки, кто готовил, таская накошенную траву — готовя постели ко сну. Сметливые нагребали из костра угольки в оловянные плошки, черпаки, ведра, накладывали сверху сырого мха — делали дымокуры, тащили их в шатры, устраивали набившемуся за день туда гнусу войну, выгоняя вон из жилища. Время подходило к ночи, но солнце и не думало уходить с небосклона, только подкатило ближе к горизонту, к тому месту, откуда пришли кочи, и, казалось, замерло в потемневшей голубизне неба. По реке там и тут рас-

ходились круги от играющей по глади, бьющейся в сетях рыбы. Рыбаки, озадаченные воеводой, вновь спустили на воду лодку, пошли выбирать рыбу, которая ходила ходуном в поставленных ещё с утра сетях.

— Богатая речка, — произнёс Афанасий, ворячая палкой трескающие и сыплющие искрами угли. — Никто, видать, здесь её не тревожит. Хаулы, ты чем рыбу ловишь — сетками, мордами?

— Моя мало совсем ловит. Таких сеток, как ваши, нет у моя. Моя олень пасёт, песец ловит. Тар Ямал много слопец⁶ имеет. С десяти хвостов один — мой.

— Своих нет, что ли, капканов, ловушек?

— Не поэтому. На чужой земле мне нельзя свои слопцы заряжать. Вся занята, ничьей мало, назад поеду — знаю, где поставить. Заряжу и поймаю, — уверенный в добыче, ответил твёрдо Хаулы.

— Вот оно что!.. Тундры много, а земли мало. Всё как у нас. Оленя тоже нельзя пасти на чужой земле?

— Оленя пасти можно, песца ловить нельзя.

— Странно, запрещать — так всё... — задумчиво ответил Афанасий.

— Летом маленьких живём ловлю, зимой вырастут — продам. Щенки песца хорошо в чуме живут, не убегают. Летом он норный, — крутанул Хаулы руками, изображая нору. — Живым песца ловить Тар Ямал разрешает. Продам, Мангазея поеду, жена товар брать: бусы, нитки, себе — капканы.

— Денег много надо, ты богат?

— Нет, моя не богат. Раньше, о-о! — мечтательно протянул ненец. — Раньше много оленей вошло. Я бога оленей обидел, копытка всё стадо съел, сейчас пастухом работаю Тар Ямала.

— Как платит?

— Двести оленей есть, когда шесть лет назад с жена пришёл к нему, три оленя было, они чум везли, моя пешком шёл.

— По тридцать с лишним оленей в год выходит, — быстро посчитал Афанасий. — Неплохо, щедрый на руку ваш вождь.

— Трэм, — подтвердил Хаулы.

— Где ты так хорошо научился по-русски? — спросил воевода, по-прежнему что-то прикидывая в уме.

— Мангазея жил, Обдорск, торговал, Тар Ямалом ездил, ясак платили казне. Ваша церковь ходил, русского Бога на икона видел — русского тадибея⁷, ваша поп слушал, запоминал. Так и научился. Моя способный, Тар Ямал так про моя говорит, — не без гордости похвалился Хаулы.

— Сам ясака много платишь?

— Твоя что не понял?! Моя не платит, — удивился немало самоед. — Моя Тар Ямала работает, он за меня платит. Он за всех, кто у него работает, платит.

— За всю тундру, за весь остров, что ли? — в замешательстве переспросил Афанасий.

— Зачем за всю, — опять удивился ненец непонятливости луця. — Есть другие хозяева, он только объезжает всех своих, ясак сам собирает и аргиш⁸ в Обдорск ведёт, там рассчитывается. Кто не может платить — разорился или копытка напала, стадо прикончила — те помощи просят, он не отказывает. Не может старший богатый ненец отказать соплеменнику. Он ясак за них платит. Должник потом отрабатывает. Лучше отработать, чем уклоняться от уплаты. Позор.

— Конечно, — согласился с Хаулы Афанасий. — Лучше в долг залезть, чем плетей от воеводы обдорского получить. Скажи-ка мне, Хаулы, много ли в ямальской тундре родов, семей?

— Точно не знаю, — задумался самоед, поднял глаза к небу. — Многа, считать надо, ездить.

— Скажи тогда, кто твои родители, живы ли, где сейчас они?

— Хельмеры⁹, — погрузнев, потупился Хаулы.

— Прости. Не знал. Земля им пухом, — повинился Афанасий, голову склонил.

— Наша в землю не хоронят, — поправил его самоед. — Наша в ящик ложат и на земле оставляют, считают, что человек не умер, а просто ушёл из стойбища, из племени.

— Как думаешь, Хаулы, тундра сможет помочь нам? — перешёл к делу Афанасий.

— Что делать? Оленей пасти, рыбу ловить, охотиться? — прикинулся непонимающим хитро-мудрый Хаулы, сам-то уже прекрасно уяснил, что задумали русские.

— И это тоже, но я о другом, впрочем, с тобой такое не решишь. С вождём надо, с Тар Ямалом.

— Трэм. Это так. Тар Ямал самый старый в нашей тундре, самый мудрый. Он богатый, честный, его уважают, его слушают. За помощью только к нему — он вождь. Как вождь скажет, так и будет, — без тени сомнения ответил самоед.

— У тадибея, у шамана не надо спрашивать?

— Тар Ямал и вождь и тадибей, по-вашему — большой поп. Вождь, наверное, говорить будет с Сэру Ирику, сейчас он как раз стережёт его. Сэру Ирику скажет: «Помоги», и ненцы помогут луця.

— Как скоро я смогу увидеть Тар Ямала?

— Тар Ямала? До него, моя уже говорил, день пути. Вот эту река обойти или переплыть надо. Зачем искать? Тар Ямал через два дня сам здесь будет. Он здесь весной каслал, чумы здесь оставил. Видел их с горы? За ними придёт.

— Нарты я видел. Значит, придёт, говоришь... — сложив руки на груди, произнес Афанасий. — Ты когда к нему едешь?

— Завтра. Сегодня не могу, олень устал, одых нужен. Тяжело летом с санями ему.

— Посему второй раз и настоятельно прошу: передай Тар Ямалу — очень он нужен мне, дело есть. Передашь? — воевода пылливо глянул на ненца, а тот уверенно кивнул вместо ответа. — Ага, тогда я подожду. Почивать где будешь? Айда в мой шатёр, там хорошо, мужики гнус выгнали.

— Не-е, моя с оленем будет, летом с оленем хорошо спим.

Рано утром Афанасия разбудили негромкие, со сна сильные голоса рыбаков, собравшихся у костра. Видать, ожидали, когда туман рассеется. Нагнувшись, чтобы не задеть низкий потолок шатра, Афанасий вытащил из сидора, что лежал сбоку, расшитое красными петухами льняное полотенце и сразу вспомнил Аглаферу, её глаза, гибкий стан, и на душе стало теплее и одновременно тоска нахлынула. Он частенько в походе вспоминал её — девку русскую, подневольную. Прикипел к ней, при отъезде наказал брату Бажену, чтоб не трогали, тем более замуж не надумали отдать.

Бажен сначала воспротивился: зачем, мол, тебе девка сенная, ровни, что ли, мало. Но взглянул в глаза брата и осёкся. Столько в них

стояло решимости, непреклонности, что не до возражений стало. Понял Бажен, что братуха сильно втюрился и от своего не отступится. Знал он, что становиться у него на пути себе дороже. Она-то, Аглафера, и собирала его в дорогу, вот и рушник, расшитый цветасто, мастеровито, дала. Окунулся в сладкие мечты воспоминаний Афанасий и вылез из-под полога своего самого маленького из всех шатра, распрямился, с наслаждением потянулся и замахал руками, разогревая мышцы. Схватил за сучки колоду в два раза толще себя, что лежала в срубе, несколько раз подбросил и уложил аккуратно на место. Хотел крикнуть Ивашку, который один из всех спал с ним, но пожалел казачка, подумал: «Пускай понежится мальчонка, придёт время — напашется», и зашагал к реке.

Солнце, оказалось, и не уходило совсем, оно вроде как стояло на том же месте, что и вчера, разве что чуть сместилось к востоку. Судя по его вчерашнему короткому и открытому закату (без облаков и туч), день обещал быть погожим, погода — вёдренной. Костры не потухли, горели вполсилы. «Молодцы, выполняют распоряжения», — похвалил про себя воевода казаков. Возле котлов уже крутился Семён, закладывал уху и вполголоса ругал выползших из всех щелей комаров.

Афанасий ухмыльнулся в бороду, подумал, что теперь долго ухой они кормиться будут. Не было в этом ничего страшного, поморы на рыбе живут, на рыбе выросли, монахи тоже, стрельцы, почти все из тех же поморов. Вот казаки — с теми сложнее, у тех рыба не каждый день, они больше мясо предпочитают. В основном это люди, переметнувшиеся на север после похода на Москву Ивана Болотникова. Ивану башку срубили, их разогнали. Куда разбойникам деваться? К себе, в донские степи, в Белгородчину не сунешься, тамошние воеводы наставили столько заслонов, что ни волку пролезть, ни соколу прорваться. Оставалось к полякам, тогда придётся по разорённой русской земле через захваченный шведами Смоленск пробиваться. Больно надо — потеряешь последнее: и лошадь, и седло, и, может стать, даже волю. Оставался русский север: Новгород, Архангельск, Сибирь-матушка. Отча-

янных, отъявленных, даже, можно сказать, бандитских казачишек особо-то никто не ждал. Их особо-то не привечали, сторонились, отказывали, вот они и прибились к Афанасию, когда узнали, что он поход в Сибирь, на Мангазею затеял. Их не пугал неизвестный край, не пугал холодный, мёрзлый север, не пугал гнус, они хлебнули лиха и были ко всему готовы. Поначалу-то между ними и поморами возникали трения, но потом притёрлись, пообвыклись, даже некоторые дружить начали. Русские же люди — душа нараспашку, смерти не боялись, наоборот, заигрывали с ней, а если требовалось, то и с песней смерть принимали. Всё им знакомо. Чего ещё надо? Тем более зипуны у воеводы бесплатно давали, сапоги, сукно на кафтан, кормили на убой. Казённая каша — не пустая, с наваром, с вяленным мясом — сытная, обжорная, и не только она.

«Обтешутся казаки, — решил Афанасий. — Со временем без рыбы жить не смогут, будут лупить не только варёную, но и сырую». Умывался Афанасий, скинув сорочку, по пояс, холодная вода обжигала, бодрила тело, дух. Пока умывался, мужики накрыли стол, часть из них, на ходу перехватив, спешили к лодкам, одни — поднимать, выбирать сети, другие — на охоту за крупным морским зверем.

— Доброе утро, господин воевода! — незаметно подкрался Василий, тоже любитель рано вставать — такая же, как воевода, ранняя птаха.

— Доброе, доброе. Пойдёшь со своими зверобоями или останешься здесь? Оставайся, дел полно.

— Нет, не заманишь, воевода. Пойду на промысел. Я тут уже бил тюленя, места знаю. Мало тогда его было. Всего трёх за три дня взяли, в бурю ещё чуть не попали, еле ноги унесли. В бурю попал — считай — пропал. Может, сейчас повезёт.

— Может. Здесь нерпы много. Заяц морской есть. Вчера в воде видел их круглые головы, — припомнил Афанасий, как ходил места осматривать.

— Они рыбу ловят, её много скатилось из озёр и рек после паводка. Вот и жирует зверь на мелководе, в устьях рек не ленится заходить. Ночью сеть нерпа порвала, скрутила всю и ушла, зараза. Нерпу будем бить, её жир в зимнее время ой как пригодится.

— Жиру на зиму возмём в устье Мутной, там тюленя много.

— Нам и сейчас жир не мешает, у мужиков сапоги скоро протекать начнут — скукожились от воды да от жары, — с заботой в голосе ответил Василий, поглядывая на ноги.

— Что точно, то точно, у меня вон тоже ссохлись, утром едва натянул. Что касательно воды, то в тундре её хоть отбавляй, мерзлота же больше чем наполовину из воды. Представь себе: если её растопить, что тут будет, — не суша, а море. Мхи, что её покрывают, тоже почти целиком из воды. Не дай бог дожди пойдут, тогда вообще беда, сапоги наши не сохнут, а гнить начнут. Пойдём, слушай, на корабль, чего мы тут посреди тундры стоим, заодно посмотрим, что да как... — махнул Афанасий в сторону берега.

— Пойдём. Только давай сначала живот мал-мал напитаем.

Напитали, и не мал-мал, а под завязку — день длинный, дел по горло, на голодный желудок не наработаешь. Опосля осмотрели большую часть кораблей, приготовленных к промыслу. Придаться не нашли к чему, всё блистало, к охоте подготовлено, сели на крепко стянутый верёвками разобранный насад, который предназначался для перевозки груза по мелководью, по суше — при волоке.

Начать работу по рытью канала намечали с Зелёной, сначала поставить небольшой городок в её устье, за зиму обжить его и начать работу на следующий год, сразу после окончания ледохода.

Городок ставить хотели к востоку от канала, как уже говорилось, в устье реки, которая впадала в Мангазейское море, и помощь в его становлении ожидали из Обдорска по льду моря. Выбор места поселения ещё тем хорош, что мимо града не пройдёт незамеченным ни одно судно. В хорошую-то погоду с возвышенного места поселения видно не только море, но и даже противоположный крутой берег Гыданского полуострова.

Покамест судна волоком перетаскивали, отвозили людей в устье Зелёной, чтобы впоследствии создавать там факторию, ставить дома, таможенный приказ, часовню. Часовенку — обязательно, только благодаря ей настоятель Соловецкого монастыря Алексей выделил не-

достающие средства для похода. Сказал, что, как построят часовню, пришлёт из Тобольска ещё людей, а вместе с ними дополнительно монахов. Велико было желание у чернецов всю тундру окрестить, продолжить благочестивое дело святого Стефания Пермского. Тот вместе с соловецкими монахами многие годы положил на крещение лопарей и кольских ненцев. Обращение в веру ямалских ненцев и предполагали начать с этой часовни, так что монахам при строительстве её придётся попотеть наравне со всеми, а может, и более. Впрочем, им это не в тягость, ещё со времён татарского ига в Уставе Соловецкого монастыря записано: главное для верующих — труд, труд и ещё раз труд во имя Господа Бога и державы. Тяжёл и однообразен порой он, но ничего лучшего не придумано в суровых монашеских условиях.

Афанасий хлопнул рукой по связанной стопке сухих досок разобранного насада и поднялся, снова перешёл к делам насущным, спросив:

— Что это мужики твои засуетились, зачем-то бочки с судна к реке катают? Им что, делать нечего?

— Почему нечего, то я распорядился. Баба с возу — кобыле легче. Суда надо к охоте облегчить, при безветрии на вёслах придётся ходить. Бочки к тому же хочу водой заполнить.

— Рассохлись, что ли?

— Бог миловал. Хорошие мастера на Валааме, обруча плотно набиты, материал из дуба, доска к доске надёжно пригнана, плотно. Делу, однако, не повредит, если перед засолкой зальём водицей.

— Понятно. Ну, удачи тебе, кормщик. Ни пуха ни пера.

— К чёрту! — сплюнул через левое плечо Севрюк.

Через некоторое время два малых коча по одному отчалили от пристани и, с трудом развернувшись в теснине речных берегов, ходко пошли в море. Ветерок оказался попутным, как раз со стороны тундры, он живо наполнил паруса. Даже с берега стало отчётливо слышно, как шуршит и скребётся парусина. Тут же недовольно загалдели, завопили проснувшиеся крачки, поднятые с песчаной косы мелкой волной.

Стан окончательно просыпался, несколько человек из отряда с топорами, баграми и верёвками отправились тягать брёвна из воды. К Афанасию подошёл чем-то озабоченный десятский Корней Заварзин и спросил:

— Долго ли будем стоять здесь, господин воевода?

— Дождёмся местного вождя — шамана Тар Ямала, надо с ним важное дело обсудить. Будем просить помощи от тундры, без ненцев мы вряд ли осилим рытьё обводного канала, строительство таможни. Если он даст добро, то у нас не только не будет козней с их стороны, но и в рабочей силе, в мясе, рыбе не будет проблем. Его влияние распространяется не только на местных самоедов, оно очень велико, его хорошо знают в Пустозёрске, Обдорске, Мангазее и даже в Тобольске. Силён старый. Он должен не только оказать помощь, но и благословить задуманное нами предприятие. Иначе дело не пойдёт. Мы, я, в частности, должны убедить его в полезности начинания.

— Он что, местный епископ или патриарх? — усмехнулся Заварзин.

— Почти, только языческий.

— Выходит, долго будем стоять. За два дня с таким делом не управишься, дня три-четыре потребуется.

— Может, и больше. Дело того стоит, — уверенно ответил Афанасий.

— В таком случае, чтоб время зря не терять, надо хоть рыбки подкоптить, подвялить. Дождей нет, солнце ярко светит, ведро долго ещё простоит, ветерок северный, благоприятный налетает. Эх, благодать-то какая! — мечтательно поглядел на чистое небо Корней. — Самый раз сейчас, тем более рыбы — прорва, сама в сети лезет. Дураки будем, если не воспользуемся.

— Дело говоришь, бери людей и начинай смело. На дым для копчения брёвен наловите, можно и берёзу местную карликовую, в ней что хорошо — дёгтя мало, не то что в родной сестре с земли, её только прорву надо.

— Что ж, пошёл я, воевода, людишек собирать.

— Давай.

Довольный десятский зашагал косолапо к артели рыбаков, переговорил с ними, и они тут же начали ставить шесты для вяления рыбы.

Стрельцы тоже нашли занятие — натягивали

пеньку меж кольев, вешали на неё для просушки подмокшую, отсыревшую одежду. Они, помимо походной одежды, сшитой из сермяжной ткани чёрного цвета, имели броские алые кафтаны с нашивками на груди и высокие шапки с опушкой из барсучьей или овечьей шкуры. Эта одежда предписывалась для парадов и встречи заморских купцов, а также при таможенном досмотре кораблей. Стрелец при параде с бердышом, а! Красавец, да и только! Тяжёлые бердыши для представительства и отпора пиратам везли с собой.

У Афанасия тоже имелся такой кафтан, отличался он от рядового опушкой по подолу, воротнику, только вместо стоячего воротника — шалька, а опушка шапки сшита не из овечьего, а из соболиного меха, и кушак, и петлицы расшиты золотой нитью. На шапке ярко белел вышитый речным жемчугом византийский орёл.

Наконец Афанасий добрался до палатки, только собрался положить на место полотенце, как подошёл заспанный Хаулы.

— Здравствуй, Хаулы. Как спалось? — спросил Афанасий. — Я вижу, ненцы любят помять бока.

— Ань торово, здравствуй, воевода. Что есть, то есть. Но может моя сутками не спать и при этом работать без усталости. Моя двое суток не спал.

— Знаю, знаю. Когда выезжаешь или остан... — вырвалось у Афанасия, но сразу осёкся — очень не хотелось ему, чтоб задерживался гость.

— Трэм. Сейчас поеду. Быстро надо. Вождь ждёт меня с ответом.

— Возьми у Игнашки сырой рыбы, поешь на дорогу. Сушек возьми, да чего есть — бери. Я Василию накажу, чтобы снарядил снедью на дорогу тебя.

— Спасибо, спасибо. Ничего не надо. Моя так хорошо.

4. Смута

Афанасий не дал договорить ему, перебил с неудовольствием в голосе:

— Как это «ничего не надо». Э-э, брат, так не пойдёт, ты мой гость. Вон и Игнашка бежит,

рыбу тащит. Давай садись снедать. Садись, садись! Рыба свежая, только из реки, как раз на ваш вкус. Я сейчас, — сказал он и зашёл в шатёр, неспешно надел кафтан, перетянул себя поясом с висящей на нём кривой саблей в видавших виды ножнах и вышел. Кликнул Заварзина и повелел принести несколько тюков с вещами, непременно тех, в которых были котлы и свечи.

— Подарок для колдуна? — спросил, кривясь, Заварзин.

— Чего кривишься? Для подарков тундре товар и брали. Считаешь, дорого, расточаем? Не скряжничай, не простого человека в гости ждём, а великого. Под ним вся тундра ходит, а знают его во всех землях, что с Ямалом связь имеют. Я думал, позову его по приходе в Нейтинские озёра. Однако на ловца и зверь бежит, тут, видать, и Господь помог, по-своему решил. Ты-то чего жмёшься, чего не договариваешь, по глазам вижу, что-то есть на душе, что-то тревожное? Дело ли — скрывать от своего командира. Не томи, говори что! Я пойму. Что не так?

— Монаси-чернецы наши недовольны, что с колдуном, с ересью дело иметь будешь. Кое-кто и из стрельцов ропщет.

— Понятно, что ещё им не нравится? — уже заводясь, спросил Афанасий, и глухая досада закипела в душе. Ведь говорил же перед походом на круг, что в его дела не даст никому лезть.

— Монахи глаголют, что это не что иное, как ведьмак, раз с антихристом шашни заводишь, что от такого не жди ничего хорошего, пострадает всё, мол, наше дело. Они — что плохо — об этом не только меж собой говорят, но и стрельцам, казакам втирают.

— Надо же, вот стервецы. Не знал. Это гораздо хуже, ладно бы меж собой. Ты сам-то что думаешь?

— Как сказать? — замялся Заварзин. — Я в этих делах не очень-то разумею. Может, и правы они, может, нет. Антихристы они и в тундре антихристы.

— Плохо, что так мыслишь. Чтобы там ни было, за общее дело надо стоять, а не смуту поддерживать. Ладно, как уедет самоед, собирай народ, буду из заблудших ваших голов

дурь вышибать. При самоеде не хочу сор из избы выносить. Разногласия — наша слабость, а не сила. Нам сейчас они как никогда не нужны. К главному делу приступаем. Ты хоть понимаешь, к чему я клоню?

— Я-то понимаю, я ничего не имею против, а вот монаси, стрельцы!..

— Кто заводила, часом не иеромонах?..

— Он, Козьма, у них всем правит. Начитанный, нетерпимый. Монаси за ним держатся, без него ни шагу.

— Ладно, разберёмся. Иди, неси тюки. Надо в путь Хаулы отправлять.

Хаулы уже дожидался у запряжённых оленями нарт, поклажу, принесённую Заварзиным, вместе с другими подарками тщательно уложил, крепко увязал, прыгнул в нарты и, помахав прощально хореем, скоро скрылся за сопками.

Афанасий проводил долгим взглядом удаляющегося, совсем ещё молодого, но толкового самоеда и, перекрестив его, сказал: «С Богом!»

Тут же, как только отъехал самоед, он, не теряя времени, отдал приказ собраться на круг — на сход всего отряда на поляне возле костров.

— Э-э, чёрт с ним! Дело серьёзное. Ивашка, бей набат, созывай народ, — решил сразу он брать быка за рога.

Ивашка притащил из воеводского шатра барабан и ударил по нему палочками, выбивая набатную дробь. Тучков сел на широкую скамью, сработанную из брёвен, выжидая, когда народ весь, за исключением охотников, что ушли в море, соберётся, и задумался. Люди сходились, недоумевая, в чём дело, зачем это среди бела дня воевода бьёт в набат, отрывает их от насущных дел. И вот нате вам, уже сам краем уха уловил нелицеприятные высказывания в свою сторону, но пока и бровью не повёл, накапливая гнев. Сидел, грозно и грузно опершись на свой воеводский посох — символ царской власти, дарованный ему государем.

— Походники! Я собрал вас среди дня не прос-то так, а вельми по тревожным обстоятельствам. Нашлись среди нас люди, которые в открытую высказываются против моего слова, моей власти, моих решений. Вы все знаете, что на корабле и в походе слово капитана — закон. Кто

они — эти люди? Как посмели выступить против закона, против моей воли?! — зычно и властно начал он. — Кто против капитана, кто против моей связи с Тар Ямалом? Кто?! — потребовал он ответа от разношёрстной толпы, взявшей его в кольцо и не предвещавшей, казалось, ничего хорошего. — Кто сеет смуту?! Выходи, говори. При всех говори, нечего за спинами шептаться. Или кишка тонка? Или трусите?!

— Я против, воевода, — раздвинул людей плечом иеромонах соловецкий Козьма и решительно вышел в круг, выпятив вперёд грудь и клокастую посеребренную бороду.

— Чем тебе, монах, не по душе моя воля? Говори!

— Тем, что язычников привечаешь. Зачем нам еретики в своём стане? Почто веру нашу православную позоришь?

В толпе поддерживающие его людишки глухо зароптали, толпа сплотилась и угрожающе придвинулась к Афанасию.

— Монах, здесь не монастырь, зачем ты со своим уставом на корабль лезешь?

— Да, здесь не монастырь, но Русь-то и здесь, она никуда не делась, а Русь — держава православная, зачем нам нехристь, язычники? Разве Ямал не данник Москвы? А раз данник, пускай и живёт по московским меркам.

— Какой ты, однако, тёмный и зловерный монах. Да, ты прав, на Ямале — московская власть, а вера у местного народа своя, в отличие от нашей, не православная, а языческая. Что же выходит — мы с людьми другой веры и дел не можем водить?

— Надо их крестить в первую очередь, а уж потом... — как-то неуверенно проговорил Козьма, видать, сам понимал, что это не выход.

— Ха, крестить, а ты знаешь, сколько на это уйдёт времени — не одно и не два лета, а десятилетия. А дело наше что?! Пускай постоит, подождёт? Или ты хочешь, как великий князь Руси Владимир, огнём и мечом загнать инородцев в воду и насильно, против их воли, за один день окрестить всех? Ты думаешь, они, как бараны, пойдут за тобой, они войну объявят. Крови человеческой хочешь. А как же заповедь Христа: «Не убий!..» Ты зачем сюда на эту землю пришёл, монах?! Воевать, местный народ резать?

— Что ты, что ты, воевода! Я не хочу никакой крови. Помилуй бог, Афанасий Тихонович, — попытался иеромонах, задёргал козлиной бородой. — Я хотел, чтобы так же, как в Коле, это происходило, как в Перми, на Двине.

— Хотел он... Там, прежде чем крестили, изучали уставы, устои, нрав народа, чем он дышит, чему молится, упорно и неустанно разъясняли, что такое вера в Христа, наша православная вера, чем она лучше языческой? Надо, чтобы люди к нам шли добровольно с открытой душой и чистой совестью, а не озлоблёнными принуждением. Веру отцов, предков разве возможно похерить наскоком, за один день. Тут терпение нужно и ещё раз терпение. Не к этому ли нас призывает Священное Писание.

— Тебя послушать, Афанасий Тихонович, так долго ещё прихожан из местных жителей не будет в нашей церкви. Я о той часовне, что собрались поставить на Зелёной... — чуть поуменьшив пыл, ответил Козьма.

— Тебе какие прихожане нужны? Чтобы в церкви отмечались или такие, которые сердцем чувствовали прикосновение к телу Христа, чтоб верили. Фарисеев хочешь наплодить в ямальской тундре? Как ты собрался проповедовать свою веру? Ты хоть одно слово знаешь по-ненецки? Ты хотя бы «Отче наш» сможешь по-самоедски прочесть? Что молчишь? Отвечай! Не сможешь, не выучен, а смуту сеять выучен! Как же ты собрался зазывать их в свою церковь? Их шаман, кстати, по-русски довольно споро говорит.

— Пусть говорит, нам-то что! И дело нам с ним нечего иметь, ересью мараться. Веру нельзя подтачивать, — не унимаясь, сгоряча крикнул иеромонах.

— Козьма, окстись. Я в своей жизни с какими только еретиками дело не имел: и с мусульманами, и с евреями, и с католиками, и с протестантами. И, как видишь, ничего, жив, здоров и дела за мной не маленькие, не еретические. Если ты в вере стоек, то тебе ничто не грозит, наоборот, крепчаешь в ней. К тому же я дело с вождём иметь буду, он нам помощь оказать должен в деле государевом. На то у меня грамота есть, подписанная самим царём Михаилом Романовым. Делать я это буду без ко-

лебаний и спрашивать согласия ни у кого не стану. Тебе же, Козьма, запрещаю людей мутить, смутой заниматься!

— Ты забыл, Афанасий, они кровавые жертвы приносят, — попытался уцепиться хоть за что-нибудь, чтобы взять свою сторону в споре, Козьма.

— Они же не людей в жертву приносят, а свою скотину, — перебил его Афанасий. — Несомненно, надо будет терпеливо отучать от этого, а не шарахаться от них как чёрт от лада-на. Ладно, с тобой всё ясно. Кто ещё против моей воли? — обвёл воевода толпу тяжёлым взглядом, изнутри полыхающим неугасимым гневом. — Что, нет таких? Тогда всё. На этом и кончим.

— Меня не запугаешь, — выкрикнул фальцетом, уже, правда, из толпы, неунявшийся Козьма. — Я на своём стоять буду.

— Что же, пусть будет по-твоему, но с сего часа ты списан с корабля, следовательно, должен уйти с похода. День тебе на сборы, чтобы тебя в отряде не было, — металлическим голо-сом отчеканил Афанасий и ударил посохом о деревянный настил. Звук вышел глухим, но дошёл до всех. — Повелеваю, — добавил тихо, почти шипяще он: — Все — поморы, казаки, стрельцы, зарубите себе на носу, так будет с

каждым, кто покусится на наше дело или начнёт сеять смуту. Мы не в разброде, а в единстве должны быть, им и сильны, и непобедимы.

(Продолжение следует)

Примечание

- ¹ Т.е. отогнали.
- ² Здравствуй, друг (*здесь и далее ненецк.*).
- ³ Хорошая собака.
- ⁴ Еркара — род.
- ⁵ Аркан.
- ⁶ Слопец — ловушка для песка, похожая на пасть.
- ⁷ Тадибей — шаман.
- ⁸ Аргиш — несколько упряжек, обоз.
- ⁹ Хельмеры — покойные.



Юрий Михайлович БЛИНОВ

родился на Урале в 1946 году.

Окончил политехнический институт и аспирантуру в Твери.

В литературе более 30 лет.

Публиковался в журналах, альманахах, сборниках, газетах: «Юность», «Урал», «Сибирские огни», и многих других.

Издал двенадцать книг: «Изгой» под номерами 1, 2, 3, «Сын хозяина», «Древние мужи Ямала», дилогию «Дороги Чубарова», «Медвежий след», «Лесные вольные», «Охолонь»,

в том числе книги на польском и итальянском языках.

Член Союза писателей России,

член Союза писателей Москвы.

Лауреат премии имени В. Катаева 2002 г.,

имени А. М. Горького 2007 г.

Живёт в Москве, активно работает.

В журнале «Север» публикуется впервые.

